Раиса Коршунова

ЗАЦВЕТУТ ЕЩЁ САДЫ, ЗАЦВЕТУТ!

Повесть

(главы 6-10, продолжение следует)

Озёрск, 2023

Глава 6
И напали на землю русскую полчища врагов

Снег все сыплет и сыплет. Пушистыми и будто на ощупь мягкими стали ветки деревьев, заборы, крыши соседних домов. Когда наружные стекла двойной оконной рамы поленится как следует разрисовать работяга-мороз – устает и он в эту холодную военную зиму – то в прогалинки между Морозовыми рисунками видно, как бегут по улице женщины-уралки в серых пуховых платках. Кажется, что я даже слышу, как вкусно поскрипывает снежок под их валенками, которые здесь смешно называют пимами.

Уральская зима… Она, как замкнувшаяся в себе сильная женщина, добрая, а только с виду суровая. То сдвинет брови – и тогда завоют метели, закрутит поземка, разразятся бураны с большими снежными заносами и сугробами. То отойдет-оттает строгое ее сердце, и тогда посыплется на землю легкий пушистый снежок и укроется белоснежным пушистым покрывалом вся земля. А то рассердится она – заскрипят морозы по лесам, зазвенит застывшее железо, накрепко закует льдом голубые уральские озера и проморозит до самого донышка разрушенные временем древние скалы, остатки Уральских гор.

Я думаю об уральской зиме, об уральских людях. Они такие же, как и у нас в Белоруссии, как и в Москве – добрые и терпеливые.

Радио приносит утешительные вести. Село за селом, поселок за поселком, большие и маленькие города освобождаются от фашистской нечисти. Скоро снова, и теперь уже навсегда, вздохнет свободно наша земля. Но еще много жертв потребует страшный Молох. Еще очень много горя впереди.

Вспоминаю, как все началось. Это, наверное, у каждого так – жил себе жил и вдруг… Все летит кувырком – все твои планы, все надежды, все задумки. Все, что за минуту перед тем казалось

важным и значительным, становится пустяком. И на первом плане – общие беды, общие заботы.

22 июня я была еще в Москве. Не успела выехать к маме. В то воскресенье рыжая Наташка (такая рыжая, что, казалось, дотронься до ее головы – обожгут волосы) – дочь нашего управдома, с которой я была дружна, пригласила меня прийти к ним потанцевать. Она достала новые пластинки, соберется веселая компания. Потом, вечерком, можно будет поехать в парк.

Вот и потанцевали… Вот и погуляли в парке…

Война…

Ещё накануне была мирная суббота: каждый строил веселые планы на выходной день. Может быть, веселые, а, может быть, и не очень, но теперь, из дали военных лет, те обыкновенные мирные дни кажутся праздничными. Все было так хорошо, и вдруг…

Как сейчас вижу чеканное побледневшее лицо Валентины – точно камея голова ее на розоватом фоне стены. Застывшее лицо, напряженное. Слушает Валентина и не может сразу постичь всей глубины беды. У радиоприемника Стасик. Никогда я не видела такой сосредоточенности и такой серьезности на его лице. Нахмурил брови и крутит, крутит рукоятку настройки, а на всех волнах одно и то же: война…

Я стою у двери и не знаю, идти мне или оставаться. А куда, собственно, идти? Может быть, бежать в университет? Что делать? Больно сжалось сердце:

– Коля… Он уже на войне.

… А в оконное стекло ударилась какая-то маленькая птица и бьет, бьет крылышками, стараясь сохранить равновесие…

Не уговариваясь и без всяких приглашений в то воскресенье пришли к нам близкие друзья, Яшины бывшие однополчане еще по Гражданской. Я глубоко уважаю их – обоих Иванов и тетю Катю. Иван Иванович и его жена Екатерина Васильевна очень похожи друг на друга, как будто это не муж с женой, а близнецы – оба чернявые с сединкой, оба невысокие и плотные и у обоих по ордену Боевого Красного Знамени. Другой Иван – это Иван Петрович. Тот

внушительного роста, белобрысый и оттого кажется каким-то большим мальчишкой, хотя ему уже за пятьдесят. И сходство с мальчишкой подтверждается еще тем, что Иван Петрович всегда весел, всегда энергичен и напорист. А Иван Иванович тот больше ворчит, всегда чем-то недоволен. У него из-за этой черты характера однажды назревали какие-то крупные неприятности, да бывшие однополчане, «высокие» друзья, выручили – услали ворчливого Ивана Ивановича на персональную пенсию, как старого красногвардейца и участника Гражданской войны. А впрочем, не стоит об этом распространяться…

Итак, «старая гвардия» в тот тревожный, страшный день позвонила у наших дверей.

– Примешь, что ли, вдова? – ворчливо-грубовато спросил Иван Иванович, раздеваясь в передней и критически глядя, как Стасик помогает повесить пальто Екатерине Васильевне.

– Ты уж не очень-то, Ваня, – шепчет Екатерина Васильевна и громким шепотом передразнивает мужа: вдова…

– А что, неправда? – возражает Иван Иванович, но замечая напряженное лицо Стасика, ворчливо соглашается:

– Ладно уж… Уж мне эти интеллигентские штучки.

Иван Петрович звонит несколько погодя. Он задержался, чтобы купить подарок для Валентины. Всегда Иван Петрович приходит с цветами – даже в то воскресенье он принес, но только не цветы, а большую коробку конфет. (Стоял, видно, за ними в очереди.)

– Не прогоните, хозяюшка? – спрашивает он и галантно подает Валентине пеструю коробку.

Удивительное дело! Этот визит «старой гвардии» и подарок Ивана Петровича как-то успокаивают меня. Будто ничего не случилось, будто страшное сообщение по радио было кошмарным сном. А теперь я проснулась, у нас гости. В граненой хрустальной вазе стоит роскошный букет сирени – это мы вчера вечером купили, гуляя с Валентиной. А разве может быть война, когда цветут цветы?

Сдержанный Валентинин голос гостеприимно приглашает:

– Милости прошу к столу.

Быстрые ее руки, как всегда, изящно накрыли на стол. Царственная ветка светло лиловой сирени с крупными крестиками цветов величественно стоит в высоком тонком бокале рядом с вином. Снуют Валентинины руки, поправляя на столе сервизные тарелочки, чуть сдвигая фужеры и рюмки. И все так торжественно, и вызывающе топорщится накрахмаленными углами подсиненная только что посланная белая скатерть.

Колдует над столом Валентина. Видно, думает она о том же, что и я – все это – и цветы на столе, и букет в комнате, и накрахмаленная скатерть и по-настоящему сервированный стол, все это – в последний раз. Очень долго ничего такого не будет. Это все точно прощальный обед в вокзальном ресторане: скоро, совсем скоро придет поезд…

Иван Петрович, наш Оптимист, настроен, по-видимому, не так, как мы с Валентиной. Он реально смотрит на вещи: мельком взглянув на накрытый стол, он выразительно крякает и, бормоча: «как же это я забыл о главном?», уходит в переднюю. Возвращается он с бутылкой коньяку.

– В этом доме держат только легкое вино, так вот…

Валентина смущенно краснеет:

– Не знала, что вы придете…

Ей на помощь приходит тетя Катя:

– Ты, оказывается, Иван, не только конфеты любишь, – замечает Екатерина Васильевна.

– Справедливо замечено, Катюша, и еще – хорошеньких женщин…

– Ах ты, греховодник!

Все смеются. И в комнате становится будто светлее.

– Стасик, сходи-ка за хлебом, – командует Валентина.

Я первый раз с того дня, как Валентина овдовела, вижу ее прежней – возбужденной и деловитой, чуткой, как сейсмограф, к

настроению своих гостей.

Шумно усаживаемся за стол. Пока Стасик покупает хлеб, можно закусить и выпить по первой рюмке. Иван Петрович разливает коньяк; впрочем, мы с Валентиной не пьем его, и Иван Петрович, зная это, наливает нам столовое:

– Пейте кисленькое, а мы уж покрепче, не доходит легкое винцо до стариков, – приговаривает он. – А ты, Катюша, с нами?

– С кем же еще? – улыбается тетя Катя.

Иван Иванович медленно и как будто нехотя, как будто даже недовольно, подносит ко рту сверкающую рюмку с искрящейся золотой влагой. Мне кажется, я просто жду, что он вот-вот скажет что-нибудь неодобрительное о качестве коньяка, но дядя Ваня-ворчун на этот раз пьет не комментируя: опрокидывает свою рюмку залпом, точно водку.

Я ловлю еле заметный чуть укоризненный взгляд нашей чопорной Валентины. Но этот взгляд был такой быстрый, что, конечно же, никто, кроме меня, так хорошо понимавшей Валентину, ничего не заметил. Зато Иван Петрович пьет не спеша, смакуя, даже чуть поворачивая свою рюмку к свету.

Оба такие непохожие Иваны, на самом деле – близкие друзья, начинают разговор о больших событиях.

– Ничего! Всыплем гитлеряке, – оптимистически изрекает Иван Петрович, закусывая тоненьким ломтиком лимона. Брови дяди Вани-Оптимиста грозно поднимаются, и он становится похожим на лихого забияку-подростка: хоть сейчас в горячий бой!

– Всыплем-то, всыплем, но и он нам даст прикурить, – ворчит Иван Иванович.

– Ваня, – укоризненно одергивает мужа Екатерина Васильевна

– Что – Ваня? Мы не в НКВД! – отрезает Иван Иванович.

– При чем здесь НКВД, Ванюшка? – замечает Иван Петрович. – Всыплем! Ты ж историю учил.

– И учил, и делал историю, – ворчит Иван Иванович.

– Вот видишь. Кончится война самое большое через полгода.

– Хорошо бы, – вздыхает Валентина.

– Нет, Ванюшка, не уложимся в полгода, – снова возражает Иван Иванович. – Разве финская нам ничего не сказала? Чего там – страна с гулькин нос, Финляндия эта, а сколько людей мы оставили там.

Я вижу, как бледнеет лицо Валентины. И зачем они об этом? Наша семья уже почувствовала холод смертного боя. Мы уже знаем, что такое война и как чувствуют себя люди, получившие похоронную. Но «старая гвардия» не учитывает этих «светских» тонкостей. «Старая гвардия» спорит:

– Ты же понимаешь, что за спиной Финляндии стояли всякие «добрые дяди». И техника, и оснащение… Видел, как в кино показывали линию Маннергейма? Чего она нам стоила? – упрямо доказывает Иван Иванович.

Я слушаю стариков и вижу, что оба спорят по инерции, но они – единомышленники. И еще замечаю я, что если сложить характеры этих спорщиков воедино, то получится характер моего покойного брата Яши. Мне становится понятно, почему он так дружил с обоими. А еще…

Еще в их споре чувствую я осадок горечи и на годы их стариковские, и на то, что они, бывшие вояки, видят войну только в кино, и еще недовольство, смутное недовольство чем-то таким, о чем они, даже очень близкие друзья, и то не говорят между собой.

И снова тянется разговор об одном и том же: как остановить врага и как быстро можно его остановить.

– Наши укрепления на границе… – оптимистически начинает Иван Петрович.

– Какие там укрепления? Рассказывал мне один друзьяк, что только-только их строить начали. На старой границе – верно, там были укрепления. А на новой… Быстро он, проклятый, сориентировался, – недовольно говорит Иван Иванович. – Не вовремя началась война.

– Война никогда не начинается вовремя, – сдержанно замечает Валентина.

Я вижу, как пропал блеск в ее глазах, и опять она сделалась такой, какой стала после смерти брата. Осунулось лицо, лиловые тени легли под глазами.

– Ты, Ванюшка, и в Гражданскую лихостью брал, – спорил Иван Иванович. – Неужто не понимаешь, что времена теперь другие?

– Какие такие другие времена? Ты, Иван Иванович, газеты каждый день читаешь. Тебе же известно, как сильно оснащена наша армия, – наступает Иван Петрович.

– В том-то и дело, что я сам, как тебе известно, воевал малость. Потому нам с тобой, как бывшим военным, должно быть известно, что в один день армию не перевооружишь, да и на всех заводах не так-то просто наладить быстро военное производство. Время! Время надо! А за сколько можно наладить серийное производство тех же танков? А? Вот в чем гвоздь. А что мы гитлеряку разобьем, в этом никто и не сомневается.

Тетя Катя слушает этот разговор, не вмешиваясь. Я смотрю на молчаливую Екатерину Васильевну и не могу представить себе, что она в свое время носила солдатскую шинель, воевала на юге с белыми, была озорной и дерзко-смелой. А теперь она как-то притихла вообще. Не потому ли что в 1937 году ее родной брат – видный военачальник – был арестован, и у нее в связи с этим были крупные неприятности.

Спасло, видно, от опасности то, что тетя Катя из-за болезни последние десять лет не работала.

Мы уже как следует и выпили, и закусили, и оба дяди Вани пришли к мирному соглашению в своих спорах, уже вполголоса спели любимую тети Катину «Каховку», а Стасика все еще не было. Валентина начала не на шутку волноваться, когда, наконец, явился наш Станислав. Он прошмыгнул на кухню и виноватым голосом стал что-то объяснять матери. Затем до нас донесся его возбужденный рассказ о том, что на улице делается «жуть что!»

Валентина со смущенным извиняющимся выражением на лице принесла сладкий с изюмом хлеб. Мы такой никогда не покупали к

столу.

– Стась говорит, что только такой остался. Весь хлеб разобрали. Извините, пожалуйста.

– Это же отлично! Белый, да еще с изюмом. Разве плохо? – успокоил Валентину Иван Петрович.

– Иди-ка, Станислав, расскажи, что там делается, – попросил Иван Иванович. – Что новенького?

Стасик стал рассказывать и об «очередине» в булочной, и о молодых парнях, которые «бегом бегут» – наверное, в военкоматы или к себе на заводы, и о женщинах, которые голосят на всю улицу.

«Старая гвардия» слушала Стаськины разглагольствования молча. Даже Валентина не одернула его за многословие.

– Да-а. Дела, – проговорил Иван Петрович. – Вот и довелось нам с тобой, Ванюшка, еще раз винтовку в руки брать.

– Зачем вы так, Иван Петрович? Есть же и помоложе, – возразила Валентина.

– Всем дело найдется, дорогая, – тихо ответил за друга Иван Иванович.

Через несколько дней мы получили коротенькую открытку, в которой «старая гвардия» ставила нас в известность, что все они втроем – и тетя Катя! – записались в народное ополчение. Тетю Катю из-за ее болезни не хотели брать, но помог орден Боевого Красного Знамени за Гражданскую. И притом она не была уж такая старая, тетя Катя, ей только недавно исполнилось сорок пять лет.

Война, война… Все сразу задышало войной.

Спокойное синее небо
Без взрывов снарядов зенитных,
Вдоволь одежды и хлеба,
И люди вокруг не в защитном…
Свет из распахнутых окон,
Смех на скамейке у дома –
Вдруг стали далеким-далеким,

Забытым и незнакомым.

Все изменилось. Москва стала неузнаваемой. Так бывает перед большой грозой: подует сильный ветер, заметет все на улице – и щепки, и сор, и соломинки. Большой поток упругого воздуха унесет все в даль далекую, разбросает где-то в поле, и на какое-то время кругом станет тихо-тихо, а потом уже разразится черная буря.

Москва в первые дни после объявления войны казалась какой-то опустевшей, притихшей – надвигался шторм. Преддверие штормовой бури было во всем – крест-на-крест перечеркнутые белыми бумажными полосками оконные стекла казались замершими над морем диковинными птицами, трубными голосами кричали со стен плакаты и призывы: «Вероломный враг напал на нашу страну. Разгромим и уничтожим врага!» «Наше дело правое! Враг будет разбит!» И люди, как испуганные бурей птицы, которые ищут защиты у безмолвных скал, толпились у газетных витрин, старались вычитать успокаивающие слова в суровых страшных строчках – сообщениях Информбюро.

Москва одевалась в защитную серую шинель.

Однажды июльским днем вызвали меня в райком комсомола. Я спешила туда и думала, что пошлют меня в какую-нибудь спецшколу. Может быть, буду изучать парашют и радиодело. А потом – в тыл врага. Или направят в школу медицинских сестер, а потом – на фронт. Я уже видела себя в шинели и в армейских сапогах.

Но… Направили меня всего-навсего в детским пионерский лагерь-интернат пионерской вожатой.

Из Москвы на неопределенное время стали вывозить детишек.

Я подчинилась комсомольской дисциплине, но в душе была совершенно не согласна с секретарем райкома. И зачем он только убеждал меня, что поручение серьезное, важное, нужное и так далее? Это же подальше от фронта, это – где потише. И что я за размазня такая? Не могла постоять за себя. Не могла доказать, что я

так же, как и другие, могу идти на фронт. Мне стыдно было смотреть в глаза и Стасику, и Валентине, которые уезжали строить противотанковые укрепления. Валентина… С ее тонкими руками, слабая и хрупкая. Стасик – подросток, ученик девятого класса. А я? Здоровенная деваха… Изволю поехать позагорать на солнышке вместе с эвакуированными ребятишками.

Действительность несколько отрезвила меня. Оказывается, и в лагере-интернате нужны были сильные руки и крепкие нервы и даже выносливость.

На первых порах мы не замечали, как мчалось время. Устраивали в школьных классах спальни для детей, заботились, чтобы каждый ребенок был сыт и спокоен. Сыт… Это устраивалось довольно просто. Колхоз, где мы жили, кормил нас хорошо, а вот спокойствия для каждого ребенка добиваться не удавалось. Тот ходит сумрачный и отказывается есть, та плачет во сне и поднимает всех, кто спит с ней в одной комнате, а те – сбежали на фронт. На полдороге удалось поймать беглецов.

И сюда, в детский лагерь, стала приходить беда.

Мохнатая морковная ботва еле виднеется из пышных сорняков. Задушила лебеда целое поле. И только чуть заметным пушистым пунктиром обозначены в этом разливанном море дикой травы узкие длинные грядки.

– Сколько нам выполоть сегодня? – спрашивает кто-то.

Я оглядываюсь. Сорок человек в отряде. А кому из них приходилось полоть грядки? Двоим-троим? А может быть, и никому.

– Морковку знаете? – бодро спрашиваю я.

– Знаем! Сладкая…

– То-то. Вот и хорошо, что знаете.

Я вытянула с грядки бледно-желтый чахленький хвостик и высоко подняла над головой.

– Вот из чего вырастает большая сладкая морковь. Будем помогать ей расти.

И я стала расставлять свой отряд на участке. Каждому – по

грядке. За моей спиной хихикали мальчишки:

– Пусть девчонки травку рвут, а здесь хорошо бы военную игру провести.

Да, джунгли что надо! Право, хоть в разведчиков играй. Но надо работать.

– Давайте соревноваться! – кричит самая маленькая из отряда Галя Петрова.

Кто-то ворчит: «Ишь, выскочила». Но предложение Гали принимается, и детишки, опустившись на корточки, с силой начинают тащить закоренелую лебеду. Длинные корни сорняка ушли глубоко в землю. Земля и ломкие, всегда как будто влажные, мучнистые листья быстро выкрасили ребячьи ладони в неопределенный грязный черно-зелено-желтый цвет.

Ленты грядок с мохнатыми морковными вихрами тянутся до самого горизонта и нет им конца-краю.

– Галка! Стахановка! – кричит какой-то мальчишка, – что же сама отстаешь? Помощи проси!

– Не попрошу, – чуть слышно шепчет девчушка, а сама, ухватившись за пышный разросшийся куст лебеды, тянет его обеими руками на себя. Лицо Гали покраснело от напряжения, на выпуклых больших ее глазищах вот-вот покажутся слезы, она упрямо тащит сорную траву из грядки. Еще и еще... Но сил явно не хватает. Р-р-аз! – полетела вверх тормашками, обсыпая себя землей с пышного корня. Пусть упала, испачкалась, но все-таки одолела злополучный куст.

Нещадно палит солнце. Во рту пересохло, хрустит на зубах песок. А грядки, невыполотые, заросшие грядки, упрямо бегут к горизонту. Во время короткого отдыха мы, как солдаты, пьем из общей фляжки по одному глотку воды. Мальчишкам это очень нравится – совсем как на фронте. Не проговорились бы только медсестре – попадет мне за эту общую фляжку. Но я гоню от себя эту осторожную мысль.

Так им интереснее. Ничего не случится, все здоровы.

И снова война с лебедой, и снова палящее солнце. Перерыв на

обед, а потом – работа до самого вечера.

Я вижу, как загребает тапками пыль Галя Петрова.

– Устала? – спрашиваю девочку.

– Очень.., – признается она, – но вы не говорите ребятам. Ладно?

– Конечно, ладно.

А колхозницы утирают концами платков глаза, глядя на перемазанных усталых детишек, возвращающихся с поля.

… Беда пришла и в наш лагерь-интернат. Мы получили письмо от Галкиной мамы. Она спрашивала о девочке и просила, чтобы мы осторожно подготовили Галю. У самой у нее не хватило сил сообщить девочке, что на фронте погиб ее отец.

Это трудное дело начальник лагеря поручил мне, как Галиной вожатой.

Я вошла в столовую и отыскала глазами Галю. Она спокойно ела. Подошла, остановилась за спиной девочки и осторожно дотронулась до ее смоляных волосенок.

– Галька – любимчик у Лиляны, – зашептали девочки.

– А вот и неправда! – запротестовала Галя.

Вечером я зашла в спальню девочек своего отряда. Они шумно готовились ко сну. Бегали в трусиках и майках, галдели, кидались подушками. Только Галя Петрова сидела на своей кровати и не принимала участия в беготне. Я подошла к ней. Чуть выпуклые светло-карие большие глаза девочки были полны слез, личико осунулось, и такое горе было во всей ее фигурке, что мне стало мучительно жаль ее, но я не знала, что сказать, как утешить ее. Галя поспешно разобрала свою постель и, повернувшись к стене, до подбородка укрылась одеялом. Я присела к ней на кровать, растрепала черные как смоль волосы.

– Ты у нас настоящая галка.

Но девочка ничего мне не ответила. Только худенькие плечики ее стали мелко-мелко вздрагивать.

– Не надо, Галочка, – нагнулась я к ней.

– С папой или с мамой случилось? – неожиданно спросила она. Я не знала, что ей ответить, вскочила с кровати и стояла, опустив голову и стараясь отвести взгляд в сторону.

– Значит, с папой, – решила девочка. – Совсем?

– Что – совсем? – не поняла я.

– Убили моего папку?

Я осторожно погладила ее плечики.

– За что? За что? Он такой хороший, – прошептала девочка, и дрожащие ее губы, и бледное личико, и немножко выпуклые большие светло-карие глаза, полные слез, и ее растрепавшиеся черные волосенки так и отпечатались в моей памяти на всю жизнь.

– За что? За что? Он такой хороший…

… Я взяла ее на колени, укутала простыней и, прижав к себе, тихонько покачивала, пока она успокоилась. Девочки ни о чем не спрашивали. Они, как по команде, замолчали и неслышно улеглись.

Я просидела с Галей Петровой всю ночь. А на утро мы снова всем отрядом отправились на морковное поле. Только не слышно было смеха в тот день, и работали мы так, что пожилая женщина – колхозный бригадир – вечером, проходя мимо, руками развела…

По вечерам мы – пионервожатые, воспитатели, учителя – уложив детишек, подолгу сидели на стареньких ступеньках деревенской школы. Мне здесь все почему-то напоминало мои Борки. Я старалась прогонять страшные мысли о своей деревне, о маме. Ведь там, в Борках, уже были враги. По молчаливому соглашению никто из нас не лез в душу друг к другу, ни о чем не спрашивал. Всем было нелегко. Сидим, бывало, вечером у школы и молчим. Темнеют в школьном саду приземистые силуэты яблонь. Зацветут ли когда-нибудь эти яблони? Зацветут ли сады? Глядят с неба равнодушные звезды. Тихо вокруг. В селе ни огонька. А мы, как путешественники, выброшенные волнами на морской берег, сидим и чего-то ждем. А чего ждать? Вести одна чернее другой ползут и ползут, и никакого просвета. Только и слышишь по радио: наши оставили Прибалтику, Минск. Фашисты подходят к Киеву.

А дети прослушают утром сводку информбюро, а потом не хотят вечером уходить с поля, не оторвешь их от работы. Как будто их маленькие руки, не приспособленные еще к сельской работе, руки горожан, могут что-то изменить. Гляжу на них, неумелых, но таких старательных, и кричать хочется…

К концу сентября прислали мне замену, и я по вызову направилась в Москву – предстояло учиться на курсах медицинских сестер. Но за сутки, пока я добиралась до Москвы, курсы оказались переполненными. Я стала ходить на занятия в университет. Дел было много – третий курс все-таки. Иду на Моховую и думаю: как изменилась за эти месяцы Москва. Она стала прифронтовым городом.

– Отстоим Москву! – звучит в эфире,
– Отстоим Москву, – кричат плакаты.
– Москве стоять – надежде мира.
– Фашисту в ней не быть, ребята!
– Москва, родная… – шепчут люди,
– Москва… – волнуются деревья.
– Москва! – и залпы всех орудий
Грохочут, защищая древней
Столицы честь и честь народа.
И даже русская природа
Встает стеною: ветер гонит
Тяжелых туч большие связки,
И дождь сердито барабанит
О сталь чужой тевтонской каски…

… У нас на факультете комсомольское собрание. Обсуждали один вопрос: чем мы, комсомольцы, можем помочь фронту?

Враг у самых ворот Москвы. Уже по бородинским полям топают подбитые крупными гвоздями сапоги. Уже слышна канонада с передовой. Уже на окраинах столицы устанавливают

заграждения из стальных «ежей» – сплавленных под углом обрезков рельс. Уже улеглись разноречивые слухи, и эшелоны с эвакуированными один за другим уходили от затемненных московских вокзалов.

Не помню, какое мы тогда приняли решение, знаю только, что именно после того комсомольского собрания я твердо решила идти на фронт.

Запомнилось мне выступление одного студента, который рассказывал, как погибла в бою Тамара Миронова – бывший секретарь комитета комсомола истфака.

Я хорошо ее помню. Она была на два курса старше. Тоненькая. С коротко остриженными русыми волосами, под мальчика. И ухватки были мальчишечьи. Однажды пришлось мне видеть, как Тамара, оглянувшись по сторонам, пнула ногой тяжелую дверь, и дубовые створки послушно пропустили озорницу. Помню, как выступала она на комсомольских собраниях – резко и справедливо, как уличала в пустозвонстве и болтовне таких, как мой односельчанин Васька-Тетеря (а их, подобных Тетере, немало тогда было и на истфаке МГУ). Поэтому я отчетливо представила себе Тамару там, в огне и в дыму, девчонку-истфаковку с тяжелой санитарной сумкой и с винтовкой. Я видела, как ползет Тамара к раненому политруку, и крупные капли пота стекают с ее лба и рисуют заметные дорожки на запорошенных пылью щеках. Кругом рвутся снаряды, отвратительно визжат мины, и у самого уха дзинькнула пуля. Страшно. Но надо любыми средствами добраться до раненого политрука. И девушка не думает о себе – стиснула зубы (на них хрустит песок) – и все равно ползет и ползет. Но поздно. Когда Тамара была уже совсем у цели, поняла она, что не нужна уже политруку ничья помощь. Бой продолжался. Падали и не вставали больше сержанты, командиры отделений, потом убило командира взвода. Тамара Миронова осталась старшей по званию (четыре треугольничка в петлице – старшина-санинструктор). У кого просить помощи? А высотку отбить надо. Надо закрепиться на той высотке. И Тамара подняла взвод в атаку. Но так и не узнала

она, взяли мы ту высотку или нет. Упала она на землю, и последнее, что видели ее глаза, это потемневшие от пота спины бойцов, которые бежали к высотке. А она лежала на земле, как горьковский Сокол. Безумству храбрых поем мы песню…

И мне виделось: упала тоненькая подрубленная березка и кудри-листья ее запылились в песке. А рядом никли травы и кусты. Поэтично и грустно. Только в жизни все не так красиво-трогательно бывает. Проще и страшнее. А героизм? Героизм – это просто необходимость, это понимание того, что иначе поступить тебе нельзя в той обстановке, в которой действуешь. Поступишь как-нибудь иначе – значит предашь и совесть свою, и товарищей, и Родину. (Но к этому заключению я пришла не тогда, когда слушала о смерти Тамары Мироновой, а значительно позже…)

Поздно вечером, вернувшись в свою опустевшую квартиру на Кировской, я думала, что сейчас же напишу Валентине и Стасику о своем решении идти добровольно на фронт. Кем? Не важно, – санитаркой, связисткой, поваром… Кем угодно.

Наша квартира стала теперь слишком просторной для меня одной. Когда-то здесь было шумно. Скрипел паркет под каблуками Яшиных сапог, деятельный Стасик то грохотал хоккейной клюшкой, то стучал волейбольным мячом или крутил пластинки на патефоне, а то громко распевал боевые революционные песни и бодрые марши. В этом маленьком уютном мире царила Валентина. Все здесь было предметом ее забот. А теперь я хожу из комнаты в комнату, и кажется, что из каждого угла пристально кто-то глядит на меня, даже жутко становится. Не включаю ни в одной из трех комнат ни люстры, ни настольной лампы, потому что боюсь нарушить светомаскировку. Только на кухне осторожно опускаю штору из плотной черной бумаги. Чтобы свет не проникал сквозь щели, по бокам окна сверху укрепляю плотное байковое одеяло. После этого можно включить свет. Горит маленькая лампочка. Я подогреваю чайник и пью чай с черным хлебом.

Мысли какие-то мрачные, сумбурные. Что-то обязательно надо мне сейчас сделать, какое-то неотложное дело заботит меня. А

на душе так тоскливо, что хоть беги сама не зная куда. Что же мне непременно надо выполнить? Вспомнила! Написать Валентине и Стасику письмо.

Я пробираюсь в темноте в комнату брата – там, за его письменным столом занимаюсь я последнее время, когда бывает светло. Там на столе, помнится, лежат конверты и бумага.

Темно в комнате. Я задела стул, и он с грохотом упал. И почудилось, что темная тень метнулась от угла к двери. До чего же натянуты нервы. Страшно, страшно. Разве пойти и попроситься подежурить вне очереди по МПВО? Пойду! Напишу только письмо и пойду. А то жутко одной, даже заниматься не могу. Пусто и тихо кругом. Теперь в целом подъезде не сыщешь ни души – все разъехались: кто на фронт, кто рыть окопы, кто в эвакуацию, а у кого казарменное положение, тот ночует на работе.

Стучат. Звонок испортился (я все жду, что вернется Стасик и починит). Настойчиво кто-то грохочет в дверь. Прислушиваюсь. Боюсь открывать.

– Откройте, Лиляна.

Знакомый голос. Это управдом, отец моей подружки – рыжей Наташки. Радостно гремлю цепочкой. Настойчиво приглашаю доброго знакомого в кухню: чай еще не остыл. Но почему он в таком замешательстве, почему у него грустные растерянные глаза?

– Вы заболели? – спрашиваю я его.

Нет, он не заболел. Просто очень тяжело узнавать, что каждый день гибнет столько людей. Вот и нашего дома коснулась война.

Я не могу сразу понять, кого имеет в виду Наташин отец. А он все что-то мнется, все не решается говорить. И только после того, как снова внимательно оглядел нашу прихожую, после того, как потеребил свою кепку в руках, наш управдом скороговоркой произнес:

– А вы... ничего. Вы оставайтесь, живите здесь. Вы прописаны. Не вселим никого. Не разрешим.

И быстренько затопал к двери. Так я узнала, что на строительстве оборонительных сооружений где-то в районе

Гжатска под бомбами погибли Валентина и Стасик.

Я ничего не ответила, только вроде оцепенела вся. Наташин отец тормошил меня, говорил что-то, а я стояла как неживая и не могла сдвинуться с места.

Потом появилась Наташа, она что-то говорила мне, поила чем-то неприятным, укладывала в постель.

Медленно тянулась та страшная ночь. Не могла я смириться с мыслью, что нет больше Валентины – строгой, подтянутой, умной. Нет нашей «аристократки», как в шутку любил называть ее Яша. Я вспоминала фотографии из семейного альбома Валентины. Вот ее мама в белом платье и широкополой нарядной шляпе. Тоненькая, хрупкая. Болезненная женщина эта умерла перед самой революцией. Вот отец, Стаськин дед. Он снят во френче с большими накладными карманами, подтянутый, выутюженный. Глаза смотрят открыто и проницательно. Бывший царский полковник, бывший военспец Красной армии. Это ему обязан Яков своим военным путем, своей специальностью. Это он и Валентина готовили нашего Яшку – полуграмотного белорусского паренька, курсанта в военную академию имени Фрунзе. Это он, Валентинин отец, шутя называл потом Яшу красным генералом и утверждал, что звание комбрига соответствует прежнему званию генерал-майора. А Стасика дразнил генеральским сынком.

И вот теперь нет никого – ни генерала, ни его семьи. Всех взяла война. Не могу этому поверить! Валенька, ты все равно жива… И ты, и Стасик все равно придете и постучите в эту дверь. Ну почему в эту квартиру в последнее время приходят только с дурными вестями?

В ту ночь я слегла. Рыжая Натка ухаживала за мной как за родной. Это она настояла, чтобы меня не отправляли в больницу и взяла с собой в эвакуацию.

Смутно помнится, как собирались мы в путь-дорогу. Я только начала вставать. Врач говорил, что у меня какое-то нервное заболевание и что только перемена обстановки поможет мне стать на ноги. Вот Наташа и решила создать для своей подружки Лиляны

перемену обстановки.

Очень болит голова. Клубится какой-то серый туман, и в разрывах его появляется озабоченное милое Наташино лицо, ее огненные волосы. Ловкие руки укладывают мой чемодан. Потом все исчезает, и я вижу себя на вокзале.

– Куда мы едем, Наташа?

– В Сибирь. Неподалеку от Омска у нас тетка живет. Вот к ней мы с тобой и поедем.

– А как же я? Да ещё и больная?

– Не век же болеть будешь. Поправишься, – успокаивала Наташа. – А о вещах и квартире не беспокойся. Мы все опечатали.

Смешная Наташа! Кому сейчас нужны вещи? Что в них? Эка невидаль…

Правда, позже, в Поволжье, я поняла, что вещи – это не лишнее… Особенно, когда их нет.

Поезд отошел поздно ночью. В вагоне было темно. Никто не спал, говорили вполголоса. Все уже уселись, всё утряслось, и каждый старался сделать что-нибудь приятное для соседа. Попутчики знакомились, вместе тужили об оставленном доме, о Москве. Я задремала.

Проснулась оттого, что вагон сильно качало – поезд набирал скорость, лязгали буфера.

Мне было тревожно, я чувствовала недоброе. Больше не хотелось лежать на второй полке, куда меня уложила заботливая Наташа, и я потихоньку сползла вниз. Осторожно стала пробираться к выходу. Это было не так-то просто сделать – дорогу преграждали узлы, тюки, чемоданы. Я больно стукнулась ногой об угол какого-то сундучка.

– Куда ты, Лиляна?

– Постою на площадке.

– Да ты сможешь ли одна? Помочь?

– Не надо.

С трудом удалось приоткрыть дверь. Рванул в лицо тугой

ветер.

– Если проскочим этот перегон, будем долго жить, – проговорил рядом усталый мужской голос.

– А что? – встревоженно спросила женщина.

– Бомбят…

И в ту же секунду перед самым моим лицом вспыхнуло что-то. Багрово-красными стали кусты у полотна дороги. Кто-то вскрикнул. Что-то зазвенело. И все.

Очнулась я в какой-то яме. Наверное, пролежала долго, потому что когда открыла глаза, то увидела только как догорают остатки перевернутого вверх колесами вагона. Поезда не было.

– Где же Наташа? – спросила я вслух.

Странно было слышать свой собственный голос, когда ответить мог только лишь ветер. Странно и страшно.

– Почему же она оставила меня? – думала я. – Нет, на Наташу это не похоже. Она, по-видимому, тяжело ранена. Иначе непременно вспомнила бы обо мне.

Что же мне делать? Идти, конечно. Но куда? В какую сторону?

Вокруг теснились темные силуэты деревьев, совсем близко подползали ко мне темные кусты. Я пригляделась как следует и убедилась, что они неподвижны. Нашарила рядом сучковатую палку. Опираясь на нее, выкарабкалась из ямы и присела на пенек. Ну, Лиляна Орлович, думай, что тебе делать. Принимай решение. Никто не подскажет.

Тяжело фыркая и отдуваясь, прошел состав. Пассажирские вагоны и в конце поезда открытые платформы, на них под брезентом груз.

Это из Москвы – едут в эвакуацию.

Я поднялась и, опираясь на палку, потихоньку пошла по рельсам в ту сторону, куда промчался поезд. Удивилась только, что и рельсы успели отремонтировать и уже поезда снова пошли, а я потерялась. И как меня не обнаружили?

Я все шла и шла вдоль железнодорожного полотна. Занималась заря. Мне стало чуть повеселее, вспомнились почему-

то гомеровские строчки:

– Встала младая с перстами пурпурными Эос…

Я ковыляла, опираясь на палку, и шептала про себя эти строчки. Видела гордую красивую Эос в бело-розовой одежде и завидовала, что той совсем не страшно. И нет ей никакого дела до жалкой девчонки, что бредет вдоль рельсов, сама не зная куда. Смешной у девчонки вид – лыжный костюм, а поверх брюк натянута черная шерстяная юбка. Сбилась с головы косынка, растрепались волосы. Холодно девчонке, а пальто сгорело вместе с вагоном.

Я стала думать, что и мне не надо особенно сетовать и не стоит завидовать Эос. Главное, я осталась жива. Просто чудо какое-то! Могу кое-как двигаться. Хорошо, что Наташа заставила меня надеть этот Стаськин костюм (он ему уже тесен был). Хорошо, что Наташа зашила мои документы в карман лыжной куртки. А ведь могло все быть иначе. Так на что же тебе жаловаться, Лиляна Орлович? Выберешься как-нибудь.

– Встала младая с перстами пурпурными Эос…

Ничего, дойдешь, Лиляна. Скоро будет совсем светло, веселее станет. Страшное позади.

– Встала младая с перстами пурпурными Эос…

А уже совсем светло, и видна полоска проселочной дороги. Вот это удача! Переберусь туда и пойду по мягкой земле.

– Встала младая с перстами пурпурными Эос…

А здесь очень легко шагается. Вон и догоняет меня кто-то. Чудной какой-то крытый фургон, вроде цыганского. Бояться мне или радоваться? Не знаю. Посмотрим. Главное, не показать, что боишься. И я быстро подбежала к лошади, тащившей фургон. Чуть попятилась усталая и замордованная лошаденка. Старик-возница с длинной библейский бородой, в черном пропыленном до такой степени пальто, что оно казалось сотканным из пыли, натянул вожжи и преувеличенно бодро выкрикнул:

– Сора, разбуди Янкеля! Тпру…

Я видела, как тряслись его руки, но голос был требовательным

и строгим. Он повелительно обращался к тем, кто был в фургоне. И ко мне не менее грозно:

– Кто такая?

Я облегченно вздохнула: если уж меня опасаются, то я не должна опасаться этих людей. Я подвинулась вплотную к старику.

– Кто такая? – спокойнее повторил старик, разглядывая меня.

– От поезда я отстала, дедушка, бомбили нас.

Голова старика исчезла за парусиновой занавеской. Он с кем-то там пошептался, а потом, пожимая плечами, грустно сказал:

– Ну что ж, садись, – и слегка ударил лошаденку вожжей.

Я протиснулась сквозь щель занавески и увидела темноволосую с блестящими глазами маленькую женщину. Она, точно наседка цыплят, оберегала двух спавших ребятишек.

– Я думала, что с вами взрослые мужчины, дедушка велел кого-то разбудить.

Женщина заговорила, захлебываясь, глотая слова. И все, что она делала, и речь ее, и движения, и то, как поправляла она сбившийся с запутанных кудрей темный платок, все было торопливо, быстро.

– А вот его, Янкеля, и просил разбудить старик. А это наш Сеня. Вот и вся семья. Где взрослые мужчины? Где, спрашиваете вы? Какой может быть секрет? Там, где и все – на войне.

Женщина проворно поправила сбившееся одеяло, поворошила свои спутанные пышные волосы, натянула до бровей платок. Но ее торопливость и энергия были тем пределом, за которым человек, изможденный от физической и моральной усталости, падает подчас замертво.

– Усаживайтесь поудобнее, – дружелюбно говорила она и передвигала какие-то узелки, сумочки, чтобы освободить для меня место.

– Спасибо. А откуда вы едете?

– Из Смоленской области. Только-только успели выбраться. Мой муж с первых дней на фронте. Остались вот малые и старый на моих руках. Что мне было с ними делать? Вот и поехали. У нас в

Ярославле родные. Может быть, все вместе поедем дальше. Немцы и сюда добираются. Но для нас дело сейчас не в том, поедут с нами родственники дальше или нет. Нам теперь только одно надо: отдохнуть. Ой, если бы вы знали, как хочется поесть настоящий обед – чтобы и первое, и второе было на столе. О третьем мы уже не думаем. Какие тут десерты-шмесерты… Верно? А? И еще хочется детей искупать. Кажется, что целую вечность сыплется на нас пыль. Вы понимаете? – торопливо спрашивала она.

Я молча кивала головой.

– Долго вы в пути?

– И вы спрашиваете? – горячилась маленькая женщина. – Долго ли мы в пути? С самого рождения! Будто ничего в жизни и не было, кроме этого фургона, да страха. Словно родились в дороге и кочуем, как цыгане… Но я не ответила на ваш вопрос: в пути мы около полутора месяцев. Только! И знаете, – нагнулась она ко мне и доверительно зашептала, – Нам все время везло. Не верите? В дороге с нами ничего не случилось, если не считать, что всего только три раза… три раза! попадали мы под бомбежки… И, как видите, остались целы и невредимы. Разве это не счастье?

Женщина победно взглянула на меня, как бы приглашая разделить ее удивление и радость. Потом она замолкла на минуту-другую, и снова посыпались, как просо из прохудившегося мешка, ее слова:

– Теперь мы у цели! До Ярославля каких-нибудь пару десятков километров…

О чем еще говорила женщина, я уже не слыхала. Уснула. А когда открыла глаза, мы подъезжали к городу.

Ярославль встретил нас плотной серой стеной мелкого холодного дождя. Здесь все было пропитано влагой. Я спрыгнула в грязь и, успев лишь торопливо прокричать слова благодарности своим попутчикам, бросилась под навес, где стояли люди. Я очутилась среди узлов, чемоданов, укутанных детишек и женщин с озабоченными нервными лицами. Эвакуированные, беженцы (какая

разница?) переговариваются, спорят, обсуждают, как побыстрее добраться до пристани — там можно плыть вниз по Волге на баржах.

– Девушка, вы не к пристани? – раздается у самого моего уха сладенький голос. – Не поможете мне вещички подтащить?

Сладенький голос мне совсем не нравится, но я вспоминаю фургон и тех незнакомых людей, которые подобрали меня на дороге и привезли сюда. Им, возможно, тоже не нравился мой голос… Я молча подняла чемодан.

– Вот узелочек еще, – и незнакомка сунула мне в другую руку тяжеленный тюк – такой, что я еле сдвинулась с места.

– Ну чего остановилась? Вон какая рослая, а легенькие вещички нести не можешь. Квелая нынче молодежь пошла.

– Я болела, и вещи у вас тяжелые…

И мне досадно стало на себя и жалко себя, что приходится оправдываться перед этой несимпатичной особой, словно обязана я была ей чем-нибудь.

И когда я почти дотащила ее кладь до пристани, она, словно спохватилась:

– А ты не заразная? Ладно уж. Давай вещи-то, милая. Вот сюда поставь, здесь посуше.

Она не говорила, а будто кудахтала, и сама была похожа на мокрую, но живучую курицу – растрепанная, в сдвинувшейся на бок ядовито-зеленой шляпке. С большим бантом, похожим на пропеллер. Повязанный поверх шляпки пуховый серый платок сполз на шею, и мокрые концы его шевелились за спиной этой энергичной особы как живые. И все вместе было чем-то противно и жалко, было каким-то фальшивым, уродливым.

– Дяденька, помогите мне, – кудахтала женщина, обращаясь к проходившему мимо пожилому человеку. Он остановился, откинул намокший капюшон брезентового плаща.

– Это ты меня, что ли, гражданка? Эко, сколь добра-то у тебя.

– Какое это добро, дяденька? Все пришлось бросить. Я жена командира. Эвакуируюсь вот.

Жена командира. И Валентина – тоже была… Но она… Все вскипело во мне.

– Дрянь ты, а не жена командира! – запальчиво выкрикнула я. – Дрянь! Командирские жены, командирские вдовы окопы роют, гибнут там, а ты… Ты – барахольщица. Беги за своими чемоданами, да не сбейся со счета – их у тебя добрый десяток.

– Посчитала уже! А что не имею я права эвакуироваться?

– Не имеешь! Одна, без детишек, не имеешь права!

– А ты кто такая – чужие чемоданы считать? Может, воровка? – наступала женщина.

– Не считала я твои чемоданы. Отвяжись.

Вокруг нас стала собираться толпа. Мне было стыдно, но я не могла остановиться и бросала обидные слова в лицо той барахольщицы целыми пригоршнями.

– Боже мой! Да что это такое? Психи по улицам бегают. Пораспускали их, и куда только милиция смотрит? Ну чего ты привязалась ко мне? Дяденька, дяденька, а вещи-то? Я заплачу! – причитала она.

– Какой я тебе дяденька? – отмахнулся старик. – Не носильщик я тебе, – заокал он, – сама донесешь.

И взяв меня за руку, потянул за собой:

– Пойдем-ка, провожу до пристани.

Мы стали спускаться по утомительной бесконечной деревянной лестнице к дебаркадеру.

… К барже спешили люди. Лил безжалостно дождь, а ноги бездомных горемык скользили и скользили по грязным скользким ступенькам, все торопились хоть под какую-нибудь крышу.

Шумная многоголосая крикливая нервная толпа оттерла меня от моего попутчика, и я затерялась среди многочисленных пассажиров утлой барженки, которая лениво двигалась вниз по Волге.

Сколько же здесь, на этой барже, горя человеческого! Мимо меня прошла высокая худая женщина в черном пальто и черном повязанном по-монашески платке. У нее странное, отсутствующее

выражение глаз. Она смотрит куда-то, поверх голов, и, по-видимому, ничего не замечает. Бледное лицо ее застыло в каком-то удивительном оцепенении. В руках у женщины маленькая эмалированная кружка на длинной тоненькой веревочке. Женщина в черном спокойно идет по палубе и вдруг, точно вспомнив что-то важное, мелкими шажками торопливо подбегает к борту и начинает быстро разматывать свою веревочку. Маленькая кружка летит в воду. Зачерпнув несколько капель воды, женщина осторожно поднимает кружку и едва дотянувшись до нее, выливает воду на палубу, себе под ноги. Она снова и снова повторяет одно и то же, до тех пор, пока ее не отводят в сторону и не усаживают на какие-то чужие узлы.

– Вот и осталась она с одной кружкой… Совсем одна. А на глазах у нее в избе сгорела свекровь-старуха. Она после пожара того и сделалась такая. И теперь находит на нее – все «пожар тушит», – рассказывала та женщина, что везла куда-то к родственникам несчастную.

Тихо плывет баржа. Медленно падают редкие снежинки. Скоро зима. Мне очень холодно в моем лыжном костюме. Но что поделаешь? Всем плохо.

– Что, прохладно? – спрашивает меня хрипловатый голос. Я не отвечаю. Только глубже засовываю руки в тесные рукава куртки.

Рядом со мной стоит небольшого роста пожилой человек с седенькими усами. Да это тот самый, мой попутчик, что привел меня на баржу! Я искоса взглядываю на этого человека и отмечаю про себя, что он тепло одет. Как уютно, наверное, в теплом стеганом ватнике, да в шапке-ушанке; разогрелся – одно ухо ушанки драчливо смотрит вверх – тесемки развязались.

– Что не отвечаешь? Замерзла, спрашиваю.

– А то как же?

– Ты сама кто будешь?

– Студентка. Из Москвы.

– Зовут-то как?

– Лиляна Орлович.

– Ишь ты: Лиляна… Каких только имен на свете не бывает, – покачал головой старик. – А меня зови Василием Ивановичем.

Старик помолчал, а потом улыбнувшись заметил:

– А крепко ты ту, с вещами которая, отделала.

– Разозлилась, да и голодная была. Но и вы не стали ей помогать, хотя она ласково так звала вас дяденькой.

– Заметливая ты. Верно. И называла она меня дяденькой, а не дедушкой потому, что дедушку вроде неловко в носильщики нанимать. Правду я говорю?

Я улыбнулась. Василий Иванович внимательно оглядел меня с головы до ног.

– Что ж ты так легко одета?

Я коротко рассказала ему свою невеселую историю.

– Да-а-а, – протянул старик, – дела. Придется помочь тебе.

– А чем вы мне поможете, Василий Иванович? Разве что ватник свой подарите.

– Нет, ватника тебе я не отдам. Сам мерзну. Стар стал. А вот плащ у меня брезентовый имеется. Его ты и накинь, все потеплее будет. Но не в этом дело.

– А в чем же? – уже веселее спосила я, укутываясь широким брезентовым плащем и благодарно поглядывая на доброго человека.

– Пора тебе заканчивать путешествие. Работать надо.

– Я и сама думаю о том, что надо бы сойти побыстрее. Да где я найду работу?

– А в любом колхозе.

– Так меня там и ждут не дождутся. Меня ведь одеть сначала надо, а…

– Эх ты – одеть. Не все же такие, как та Курица, с которой мы с тобой в Ярославле воевали. Одеть, – передразнил меня старик.

– Некуда мне ехать, дедушка. Не ждут меня нигде, – упрямо повторила я.

– Ну это мне неизвестно, где тебя ждут, а где нет, но к нам в

колхоз, если желаешь, можешь ехать.

– Да не примут меня у вас.

– Может быть, и примут.

– А председатель у вас добрый? Не откажет?

– Не знаю, добрый председатель или нет, а на работу примем. Потому что председатель я и есть.

Я удивленно посмотрела на старика: какой же он председатель? Василий Иванович угадал мои мысли:

– Вот видишь ты, какое дело. Пришлось на старости лет и в председателях ходить. Залез было дед на печку, ан нет – пришлось слезать. Молодой председатель-то воюет.

Старик тяжело вздохнул, негибкими опухшими в суставах пальцами стал завязывать тесемки своей ушанки.

– Ну так как? Какое решение твое?

– Спасибо вам, Василий Иванович, за доброту.

Так я оказалась в Поволжье, в колхозе «Зарево». Василий Иванович предложил мне должность помощника счетовода в правлении колхоза. Я, было, заспорила — не могу сидеть в тепле, пойду на молотьбу или на ферму. А Василий Иванович, хитренько глядя на меня, спрашивал:

– В чем пойдешь-то на ферму? В чем молотить станешь?

И нагибаясь почти к самому моему уху доверительно утверждал:

– Дороже одежонка твоя стоить будет, чем наработаешь. А так… Ну, что ж, прокормим тебя. Сиди ты, ради бога, и не морочь мне голову. Придет лето, найду тебе работу.

А у меня болело сердце. Видела, что работы здесь невпроворот. В поле остались скирды не вымолоченного хлеба, осыпалась на корню пшеница, не скошено сено. И дело здесь не в бесхозяйственности. Сколько можно было наработать голыми руками? Всю технику отдали фронту. Лошадей тоже почти не осталось – только ненужные, выбракованные. Вот и надейся на свои руки. А руки-то, какие они? Слабые – женские да стариковские.

На квартиру взяла меня разбитная бабенка, которую все село за глаза называло Верка-рябая, а она себя любила называть Верушка. Я стала называть ее Верушка-хозяйка, не из лести, а в благодарность за то, что дала она мне на первый случай кое-какую одежонку, приютила и кормила со своего стола. (Кое-что из продуктов выписывали мне из колхоза, но хороша бы я была, если б пришлось довольствоваться только тем пайком…)

Не успела я как следует осмотреться в доме своей хозяйки, как она уже поспешила поведать мне, что хотя и осталась солдаткой, но ищет утешения… – и все в этом роде. Откровенно говоря, сколько я жила у нее, «утешители» к нам в дом не заглядывали – просто такая уж натура была у Верушки – наговаривать на себя. Она была не очень-то красивая. С маленькими птичьими круглыми глазками, лицо в частых рябинах от оспы, длинноватенький остренький носик. По-видимому, хозяйка моя страдала из-за своей внешности, потому и с языка ее не сходили слова об «утешителях». А по существу это была очень порядочная женщина и добрейшая душа.

И развлечь, и успокоить меня пыталась она не раз. Бывало, сидим мы с ней долгим зимним вечером на печке, тускло мигает тоненьким оранжевым язычком малюсенькая коптилка, за стеной громко воет ветер. А Верушка-хозяйка так и сыплет, как из рваного мешка просо, разные незамысловатые рассказы – все больше об «утешителях», и искоса поглядывает, улыбаюсь ли я.

Но однажды мы с ней едва не поссорились. Прихожу я как-то из правления на обед. Открыла дверь и стою у порога. У нас незнакомый человек. Сидит в уголке под фикусом на табуретке (стулья Верушка предлагала только достойным гостям) и напряженно смотрит, как моя хозяйка, подвинувшись к самому окну, старательно мнет в руках темно-синий мужской пиджак. Я издали вижу, что вещь совершенно новая, но Верушка, забыв обо всем на свете, с упоением рассматривает ткань, фасон, пуговицы. То наклонится близко, поднесет пиджак к самым глазам, то отведет руку в сторону, то накинет на себя, погладит и даже понюхает...

– Что это? – спрашиваю я у незнакомца.

– Да вот, видите ли, пришлось заниматься натуральным товарообменом.

Я понимающе кивнула. Разве не ясно: человеку нечего есть, вот он и обменивает вещи.

– У меня жена тяжело заболела. Необходимы жиры, нужно свежее масло.

– Вы эвакуированные?

– Да. И не очень удачно все получилось. Плыли по Волге на последней барже и примерзли, – грустно улыбнулся мужчина.

Я не стала его больше ни о чем расспрашивать. И снова взглянула в сторону Верушки. Как же она была в ту минуту не похожа на себя – даже в глазах появился какой-то хищный блеск. Мужчина точно ждал приговора, а хозяйка моя не торопилась. Она упивалась своей властью, зависимостью этого человека от ее, Верушкиных слов.

– Зря беспокоитесь. Костюм совершенно новый, – вполголоса проговорил мужчина, словно стыдясь чего-то. А ему, и вправду, было стыдно и неловко.

Верушка только покачивала головой, снова накинула пиджак себе на плечи. Мне стало противно, я тихонько пробралась на кухню и сидела там за перегородкой без всяких мыслей, с тяжелым осадком на душе – томительно ожидала, когда же наконец закончится эта комедия и глумление над человеком. По тому, как держался незнакомец, видела я, что ему впервые приходится заниматься столь непривычным и совершенно новым для него делом. Какой-нибудь прощелыга сумел бы наговорить семь бочек арестантов и быстрехонько выманить у моей хозяйки вдвое больше масла, чем стоил тот костюм. А этот только сидел ссутулившись и внимательно разглядывал носки своих поношенных когда-то модных ботинок.

Хлопнула входная дверь. Не сторговались. Я вошла в комнату.

– Кто это был?

– Профессор какой-то. Говорит, эвакуировался с институтом, да решил завезти больную жену к родственникам. Жене, вишь ли,

плохо стало. И примерзли они. Теперь сидят в затоне, неподалеку отсюда.

Я представила себе, как ожидает мужа больная женщина, как лежит она среди незнакомых людей. А за окном воет ветер, метет поземка. Хозяйка же моя, Верушка, могла помочь той женщине – есть у нее масло и сливочное, и топленое (сама видела, когда посылала она меня в погреб).

– Ты, поди, еще не ела, Лиляна?

Я не ответила, только пристально взглянула на свою хозяйку. И мне сразу стала ненавистна и ее комната с развесистыми фикусами, и сама Верушка в цветастом платке, и лицо ее показалось вдруг похожим на мышиное. Мелкая грызунья. Я хотела выкрикнуть что-то обидное, злое, уничтожающее – подобное тому, что говорила я в Ярославле незнакомой женщине, называвшей себя эвакуированной командирской женой. Но на ум приходила почему-то детская дразнилка: Верка-рябая, Верка-рябая…

Хозяйка стояла у окна. Больше она не пыталась говорить со мной. Я подошла и стала рядом. Нет, я даже не глянула на нее, просто стояла рядом и думала, что ни одного дня не останусь больше у нее на квартире.

– Лилянка, пойдем обедать, – снова проговорила Верушка.

– Не хочу вас объедать.

– Да ты свое ешь, паек тебе дают.

– Масла мне не дают, а я каждый день ем кашу с маслом и пью молоко.

Я подняла голову и увидела, что с увеличенного портрета глядит на меня хозяйкин муж – он на фронте теперь. Верушка вдруг поняла меня:

– Так ведь война… И нам тоже надо, – оправдывалась она. – Не продешевить бы.

Я не отвечала. Вот как – и Верушка, оказывается, занята тем, как бы не продешевить. Что я могла ей на это сказать? Я только упорно глядела на портрет волжанина-колхозника и видела, как идет он, усталый, в мокрой и грязной шинели, и как его

истоптанные сапоги месят грязь и падают редкие снежинки, и очень холодно солдату. И может быть, выходит он из окружения, голодный и раненый, а незнакомые люди отдают ему последний кусок хлеба, делятся последней картофелиной. А здесь…

– Так ведь на всех не напасешься, – робко доказывает Верушка. – Много их, эвакуированных.

Я опять молчу и снова внимательно разглядываю портрет. Фотограф-художник явно польстил заказчику – вряд ли у Верушкина мужа была такая модная рубашка, вряд ли он умел так красиво завязать галстук, и костюм на портрете у колхозного кузнеца очень уж модный, пижонский.

– Ты жалеешь того профессора, потому что он тоже городской. Все вы друг за друга, городские, – доносится голос хозяйки.

– Я такая же городская, как и ты! – отрезаю я и осторожно протираю стекло портрета рукавом своей кофточки. Нет, пока не запылился этот портрет. Нет на нем пыли. Но он может запылиться. Может…

Хозяйка моя всхлипнула. Я собралась идти снова в правление. Есть мне совсем не хотелось, да и забота была – искать себе новое жилье. Здесь я не могла оставаться.

– А его, профессора того, не догнать, поди?

Я выглянула в окно. Из дома напротив выходил тот мужчина. В руках его по-прежнему был сверток. Не сумел он продать свой костюм.

– Смотри, вот он!

– Ты верни-тко его, Лилянка. Скажи – согласна я.

Накинув на плечи хозяйкину шубенку, я бросилась догонять незнакомца. Он шел, вобрав голову в плечи, еще более постаревший. То ли от ветра, то ли просто так, но на глазах у него были слезы. Я тихонько дотронулась до его плеча, и он, видимо, узнав меня, ни о чем не спрашивая, зашагал следом за мной.

Когда мы вернулись, Верушка протянула мужчине кусок масла, обернутый в чистую тряпочку.

– Вот возьмите. А костюм мне не надо. Мал он будет мужу моему.

– Не могу я так. Тогда возьмите деньги. Сколько вам за масло?

– Нисколь не надо. Что стоят теперь деньги?

– Тогда возьмите костюм.

– Ну будет говорить пустое, – грубовато оборвала незнакомца Верушка. – Домой вам спешить надо. Жена-то, поди, заждалась. Да и нам некогда. Вон девчонка у меня не обедала еще, на работу опаздывает.

Хозяйка моя сунула в руки оторопевшего человека масло и пошла на кухню.

– Берите же, – улыбнулась я ему, – и проводила, чтоб закрыть калитку.

Когда я вернулась, то увидела, что хозяйка моя сидит на табуретке в маленькой нашей кухоньке, где мы обычно с ней обедали, и всхлипывает…

Глава 7
Хороших людей больше, чем плохих

Когда долго лежишь в госпитале, кажется, что сдвигается время. Создается впечатление, что все здесь точно переплетено кольцами замкнутой цепи: утро-день-вечер-ночь. И так далее – целая бесконечность. Меняются дежурные сестры, значит наступило утро. И работу дежурных сестричек научились узнавать мы «по почерку». Если в коридоре тихо и мимо палат люди проходят на цыпочках, то это дежурит строгая Оля; а если рано утром или даже ночью дзинькают различные склянки, слышится громкий шепот, хихиканье, а по коридору ходят, громко топая, ступая на всю подошву, можно безошибочно сказать: это дежурит Римма.

А вообще, когда человек долго лежит неподвижно, привязанный к кровати, то у него очень обостряются и слух, и зрение, и обоняние.

В тот день, с которого многое изменилось в нашем госпитале, все сначала было знакомым, привычным, обыкновенным. Утро началось позвякиванием склянок (дежурила Римма), а потом, громко топая, то есть ступая на всю подошву, прошла она сама, и после этого стали разносить градусники. Раненые зашевелились, заходили по коридору – послышался скрип костылей, шлепанье, шарканье тапочек, бормотанье, вздохи, возбужденные восклицания. Госпиталь проснулся.

Пронесли лекарства – тоненько позвякивая, стаканчики, мензурочки с целебным «зельем» возвестили о себе, вселяя надежду на быстрое исцеление. Потом запахло свежим хлебом, кофе, кашей с комбижиром. На маленьких тележках забрякали эмалированные миски – это развозили завтрак лежачим, таким бедолагам, как мы с Леной.

После завтрака все с надеждой и тревогой ждали врачей. Нянечки уже вымыли и протерли нехитрую госпитальную мебель и

полы, больные улеглись под аккуратно расправленные одеяла. Что-то принесет сегодняшний день? У каждого надежда – скорее выздороветь. У каждого свои думки, свои заботы. Дружная тишина.

За тишиной – деловитый скрип дверей и шаги военных госпитальных врачей. Обход. Начинается прослушивание, выстукивание, осмотр, консультации вполголоса между собой. Бодрые голоса и советы, и… святая ложь, которая прощается лишь врачам да родителям.

Осмотрен последний больной в палате, и за врачами тихо закрывается дверь. Наступает разрядка. Какой-то выздоравливающий вояка громко шутит, сдержанно хихикает Римма. Кого-то провели в операционную или в перевязочную, либо на рентген. Начался обычный госпитальный день. Незаметно приходит время обеда.

Но вместо убедительных и строгих призывов старшей медсестры соблюдать после еды час отдыха (мы не любили даже сам термин «мертвый час») в коридоре послышалось движение – кто-то незнакомый и, кажется, не один пришел к нам в госпиталь. Обычно такой властный, а теперь тоном «помягче» голос нашего главного врача что-то почтительно объяснял. Потом появился еще один голос – властный, привыкший и убеждать, и повелевать. Несколько человек прошло по коридору, и я отличила между ними походку человека с властным голосом – он прошел, уверенно ступая, скрипя сапогами. (Совсем так, как наш командир дивизии, генерал-майор Борисов. Где-то он теперь? Как там он? А тебе какое дело, санитарка Орлович? Лежи себе привязанная к кровати и не смей думать о ком не положено…)

Оказывается, в госпиталь приезжал секретарь Обкома партии. После этого в нашем госпитале появились шефы.

Мы с Леной напряженно ждали, что вот-вот и в нашей палате откроется дверь, войдет хорошая женщина с добрым лицом и усталым голосом. Но всякий раз, когда к нашей палате осторожно подходили, слышался неразборчивый шепот дежурной сестры (даже Римма говорила настолько тихо, что я не могла различать ее

слов), и… шаги удалялись.

Но недели через две и в нашу палату тоже пришли. Значит, дела наши с Леной пошли понемногу на поправку, если и к нам пустили шефа. Этому… не шефу, а шефеночку, которого зовут Катей Саранских, мы с Леной очень обрадовались.

Первый раз, когда Катя перешагнула порог нашей палаты, не могла она скрыть своего испуга. Полудетское личико ее вытянулось, руки быстро-быстро затеребили обрывки завязок от халата, который Катя ухитрилась накинуть так, что перед с карманами на спине у нее оказался. Девчушка нерешительно повела головой по сторонам, и я прочитала в ее глазах: ну и достались подшефные!

В самом деле: одна с забинтованным лицом сидит на кровати и накалывает что-то на толстом листе бумаги – шило не всегда попадает в клеточку трафарета, и тогда слышится сердитый скрип металла о металл и недовольное бормотание. Это Лена постигает азбуку слепых, учится писать. Другая подшефная это я – с вытянутой, толстой от гипсовых повязок ногой, с «агрегатом» – целой системой грузиков и подвесок над кроватью. Вот и проводи среди таких работу – воодушевляй, вселяй в них бодрость и спокойствие…

Катюша тихонько потопталась у двери. Я выжидающе взглянула на нее: любопытно, что этот шефеночек будет делать, какие слова скажет? Но она смущенно молчит, исподлобья поглядывая то на Лену, то на меня. Усталое желтоватое личико остается по-прежнему удивленным, темная прядка волос выбилась из-под марлевой косынки. И такая она слабенькая, такая маленькая, точно воробушек-подлеток. Что ж, надо выручать девчушку.

– Да вы не стойте у порога, проходите, – зову я и, дотянувшись до табуретки, с грохотом пододвигаю ее поближе к себе. – Садитесь вот…

Лена перестает накалывать свои точки и, прислушиваясь, поворачивает к нам забинтованное лицо.

– Проходите, – приглашает и она.

Катюша несмело шагнула к моей кровати и заученной скороговоркой выпалила:

– Я ваш шеф. Если надо, могу книгу прочитать или письмо домой, на родину вашу, напишу. Последние известия… – она осеклась, заметив на спинках наших кроватей по паре черных наушников, которые с достоинством и даже самоуверенностью заявляли о своей незаменимости.

Катя покраснела и, смущенно замолчав, присела на табуретку, по-взрослому степенно сложив на коленях чумазые от въевшегося машинного масла руки.

– Вот и хорошо, – подбодрила ее Лена. – Вы почитаете нам, поговорите. А то мы одни да одни. Только медики ходят, а им с нами посторонние разговоры заводить некогда.

– Буду вам читать, – повеселела Катюша. – Да только сегодня не принесла ничего с собой.

Я обратила внимание, что шефеночек наш очень уж худенькая и редкозубая, как ребенок. Мне стало ее очень жаль, захотелось как-то подбодрить, приласкать. И от ее внешней беспомощности я почувствовала себя не привязанной, неподвижной раненой, а прежней – сильной и здоровой, и мне особенно стало понятно, что воевала я и за нее, за этого воробушка-подлетка, редкозубую девчушку. А теперь она пришла ко мне в госпиталь, я этому очень рада и верю, что скоро буду совсем здорова. Я ободряюще улыбнулась Катюше. Несколько осмелев, она поднялась с табуретки и подошла к моей тумбочке.

– Вот Николай Островский «Как закалялась сталь».

Девчушка бросила быстрый взгляд на меня и на Лену и, заметив, что та поправляет свое овеяло и устраивается поудобнее, смело открыла книгу.

Глуховатым голоском, немного запинаясь, Катя прочитала первую страницу и сразу шагнули к нам в палату Павка Корчагин и его сверстники и друзья, храброе и мужественное поколение комсомольцев времен Гражданской войны.

…Книга-воин. Я видела, как лежала она на обочине дороги,

простреленная книга, рядом с убитым молодым бойцом. Она тоже воевала, и в нее стреляли враги, но книга эта, как вечная правда, всегда оставалась непобедимой. Я видела, как другой боец, который спешил в окопы, бережно поднял ее, простреленную книгу, и понес с собой, подобно тому, как поднимают знамя, выпавшее из рук убитого знаменосца. И вот здесь, в госпитале, мы снова слушаем пламенные слова, снова говорит с нами Павка Корчагин.

В тот первый день нашего знакомства с маленьким шефом мы долго говорили о мужестве, о настоящих людях, и не боялись громких слов, и не стеснялись высказывать сокровенное. Так и повелось. Придет к нам Катюша, и начинается разговор обо всем на свете – о большом и малом. Мы ей о фронте рассказываем, а она нам – о жизни в тылу.

Мы жадно слушаем, что делается в городе, как живет Челябинск. Что делается? Все работают. Мужчины, какие остались по брони, на казарменном положении – даже ночуют в цехах. Только в субботу придут домой, помоются в бане, переоденутся в чистое, поспят самую малость, – и снова в цех. В катином цехе много мальчишек-ремесленников. Да беда с ними: хилые попадаются, низкорослые. Некоторые даже до станка как следует дотянуться не могут, ящики себе под ноги подставляют. Но работают ничего, по две нормы дают, а то и больше. Трудится каждый за взрослого. Или та же Нинка... Подружка Катюши. Засоня да и только. В дневную смену работает, как и все. А в ночную... Ну просто беда с ней. Не углядит мастер – нет Нинки за станком. Значит, спит где-нибудь. Идет мастер искать. Находит, конечно. Где-нибудь в уголке прикорнет Нинка на тряпье, на ветоши какой. Вытащит ее мастер сонную, измазанную. Конечно, во сне и грязными руками по лицу поведешь, да и ветошь не очень-то чистая, на какой преклонила девчонка голову. Что? Плохо к работе относится Нинка? Да нет же! Работать она умеет, и старательная. А дело в том, что дома у Нинки трое братишек да сестренка маленькая, и мать работает. Вот и получается – днем Нинка с ними

навозится, да еще смена не коротенькая – двенадцать часов. Вот как оно получается. Лена слушает Катюшу и, сильно нажимая ладонью, тянет руку по одеялу. Значит – взволнована.

– Рассказывай еще, Катюша, – просит она. – А с продуктами как у вас?

С продуктами? Да всякое бывает. Иной раз не все отоваривают по карточкам. Лена тянется к Катюше:

– А какие они, карточки? Я их никогда не видела.

– Не видели? – удивляется девчушка.

– Нет. Когда я на фронт уходила, карточек еще не было.

Катя бережно достает из кармана хлебную карточку, берет Лену за руку и осторожно кладет ей на ладонь измятый драгоценный кусочек печатной бумаги.

– Бумажка? А написано что?

– Напечатано число и месяц. Завтрашний талон – 14 марта 1944 года.

И снова в нашей палате журчит глуховатый катюшин голосок. Спекулянты? А как же? Есть и спекулянты. И менялы всякие появились. Какие менялы? Да они разные бывают. Одни меняют вещички на продукты, потому что есть нечего, а другие – чтобы нажиться. Под суд их? А как же, и судят, не без этого.

Нам дорога каждая малость о жизни в тылу. Мы жадно расспрашиваем о мельчайших подробностях. И конечно же, нас живо интересуют домашние дела шефеночка. А дома-то у Кати последнее время очень невесело, даже – наоборот. Давно нет писем от отца. Говорят, пропал без вести. Мы с Леной знаем, что это такое, но не объясняем Кате – пусть они живут надеждой. На войне ведь и чудеса бывают. И из мертвых воскресают некоторые. Скорбные складочки лежат на полудетском Катином личике: страшно подумать, может быть, отца и нет в живых. Мы молчим. Нельзя же ей рассказывать о том, как бывает трудно доказать свою невиновность тому, кто или попадал в окружение, или по каким-нибудь причинам отбивался от своей части. Все это настолько сложно, что я и в мыслях своих не хочу сейчас отвлекаться на эту

тему. Очень многое мне непонятно.

Потом Катя говорит, что и от старшего брата тоже давно нет никакой весточки. Мы дружно уверяем, что, мол, так часто бывает. Придут еще письма. Катюша не жалуется. Только иногда вздохнет, покосившись на свои чумазые руки – мыла никак не достать. Только иной раз щелоком и отмоешь их мало-мальски.

– Ничего, Катюша, руки отмоются, – говорит Лена, а потом с горечью добавляет: – Я бы очень хотела, что б у меня сейчас были руки в машинном масле или пахли бензином. А то… Вон как вымылись они в госпитале.

Чтобы отвлечь Лену от мрачных мыслей, Катюша начинает рассказывать о своем бывшем классе – 8-м «б». Год тому назад все комсомольцы пошли работать на завод. На номерной, конечно. А одна девчонка, она, правда, не комсомолка, устроилась хлеборезкой в столовую. Видно, кто-то из родственников отыскал для нее такое местечко. И подумать только? Здорово теперь она живет. Не пыльно и денежно. Даже каракулевую шубку недавно купила. Сама невзрачненькая белобрысенькая из себя, а как наденет ту шубку, прямо баско выглядывает.

– Как, Катюша?

– Баско – красиво значит…

Катюша удивленно посмотрела на меня, как это я не знаю, что означает это простое слово, и продолжала рассказывать.

Раньше на ту девчонку мальчишки и не глядели, а теперь все какие-то солидные дяденьки вокруг хлеборезки увиваются.

Я внимательно прислушиваюсь к интонации, с которой наш шефеночек рассказывает о своей бывшей однокласснице, и с удовлетворением отмечаю, что нет в тоне Катюшиного рассказа ни малейшей нотки зависти или сожаления о том, что не она, Катюша, устроилась работать хлеборезкой. Пусть уж та выглядывает «баско». Может быть, и ненадолго…

– Рассказывай, Катенька, рассказывай, – теребит Лена.

И еще рассказывает девчушка, как случайно попала она на вечеринку к одной знакомой. До войны такая приветливая и

скромная была женщина, а теперь словно подменили ее, с тех пор, как мужа на фронт проводила. Сама аптекой заведует, а живет получше наркома… Пришла к ней Катя книгу попросить (у аптекарши после мужа два полнехоньких шкафа книг) и попала на вечеринку. Пожилые мужчины (и почему они не на фронте и не на казарменном положении?) – лет по сорока дядьки, несколько военных – из тех, кто приезжает за техникой, две подавальщицы из заводской столовой. А на столе там – ну, точно свадьба довоенная, – чего только нет, ломится стол от еды, от бутылок. Пришла Катя, не гнать же ее. Пригласили за стол. Сразу какой-то толстый дяденька в полувоенном стал вино красное наливать, разные консервы на тарелку подкладывать. А хлеб там… белый-белый, как до войны. Угощал, угощал тот дяденька, а потом и рукам волю дал. Вскочила девчонка, слезы на глазах. А он с ухмылочкой – ничего, мол, дорогуша, война все спишет. И чего ты только ерепенишься, молодая, необстрелянная?

Рассказывает Катюша и снова переживает. Я смотрю на Лену и вижу, как крутят ее пальцы жесткий ворс госпитального одеяла, закручивают, выщипывают ни в чем не повинную госпитальную собственность.

Нет! Ничего не спишет война. В этом-то мы твердо уверены. Просто мы не позволим списать, вот в чем дело.

Катя всегда приносила нам хорошие известия. Откуда-то узнала она, что с ногой моей все хорошо, и как заправский доктор доказывала, что я даже хромать не буду. А Лене все о филатовской больнице твердит: чудеса там делают. И губы Лены, когда она слушает маленького шефеночка, растягиваются в улыбку.

Да, все сложно, все очень непросто. Тыл и фронт. И везде люди, и везде человеческие судьбы. Сейчас нам намного легче дышится. Радио приносит одно известие радостнее другого, – гоним врага, да еще как гоним! Вот и дожили. Начинается и на нашей улице праздник. Пусть это еще не совсем то, о чем мечтали

мы каждый день. Но то, что это канун праздника, никому не приходится отрицать. Идут вперед наши войска. Одерживают победу за победой. Как рады мы этому. И вспомнился мне наш первый радостный день в первый год войны. Весть о победе под Москвой, о нашей победе, была тем ясным солнышком, которое засияло для нас.

Хозяйка моя Верушка с пустыми ведрами вернулась от колодца, чтобы сказать мне об этом. Женщины разбежались, не набрав воды, чтоб порадовать родных.

– Слыхали, как мы их? Слыхали, как под Москвой, – бессвязно кричу я, вбегая в правление колхоза.

– О победе над врагом? Конечно, – торжественно говорит старичок-счетовод. Даже морщинки на его старческом лице разгладились, и молодо глядят из-за стекол сильных очков его глаза. Он машинально кладет за ухо карандаш, подходит к географической карте и показывает набившимся в комнату женщинам, куда откатился враг. Он объясняет, как настоящий историк, вспоминает битву при Бородино, делает оптимистические предположения о дальнейших наших стратегических действиях. Он рассказывает так обстоятельно, что я в глубине души завидую ему и огорчаюсь, что этот не очень-то грамотный человек растолковывает суть дела лучше, чем смогла бы это я. Мне, как будущему историку, надо было бы вот так рассказывать о событиях, стоя у карты.

Весь день я под впечатлением этого радостного события. Наконец-то мы показали тевтонам, где раки зимуют. Мы взяли много населенных пунктов. Об этом бормочу я про себя целый день.

– Взяли много населенных пунктов! – эта официальная фраза звучит как самая яркая поэзия, как бодрая и жизнеутверждающая, радостная музыка.

Уходя вечером домой, я собираю и складываю в шкаф свои бумаги. Не замечаю, что приплясываю, чувствую только, как слова победной песни готовы слететь с моих губ. Мне кажется, что все

вокруг живут только этими событиями. Иначе и быть не может!

Все, да не все… Я замечаю угрюмый взгляд нашего завхоза. Его в деревне зовут Костыль за инвалидность. Он ходит с деревяшкой, привязанной к обрубку ноги. И деревяшка эта, думается мне, всегда недобро постукивает по половицам. Костыль смотрит на меня испытующе. Я вижу, как недобро ехидничает и лицо его, и полушубок, как насмешливо глядит добротный каракулевый костылев треух с кожаным верхом. Костыль сидит на лавке и вертит в руках канцелярские счеты. Мы с ним одни в правлении. Он, не скрывая издевки, смотрит на меня и нагло улыбается. Потом кладет счеты на стол и спрашивает:

– Чему вы улыбаетесь, милая фрейлен?

– Фрейлен?

– Простите: барышня.

Я прищуренными глазами измеряю Костыля с головы до ног. «Барышня» мне тоже не нравится. Но что он еще хочет сказать?

– Так чему вы радуетесь?

– Нашей победе! – с вызовом отвечаю я. – Победе под Москвой.

– Слыхал, но радоваться еще рано.

– Почему? Разве вы не понимаете, что это значит? Мы ведь бить их стали, бить! Они же у самой Москвы были. И мы… Так далеко прогнали их. Сколько населенных пунктов…

– Простите, – перебивает меня Костыль и тянется к счетам. Он кладет на круглые костяшки канцелярских счетов свою красную ладонь и нажимает так, что бедные старенькие счеты вот-вот развалятся. Толстые пальцы Костыля отбрасывают истершиеся костяшки: кляк, кляк, кляк.

– «Точно зубы у волка», – думаю я. Но выжидательно молчу. Так что же он еще добавит к этому?

– Вы считать на счетах умеете? – неожиданно спрашивает меня Костыль.

– Конечно. Но я не понимаю вас.

– Ну так садитесь рядышком, барышня, объясню.

Я не хочу садиться рядом с этим человеком. Просто подхожу поближе.

– Вот это теперешние наши победы, – говорит Костыль и отбрасывает костяшки счетов в самом низу – те, по которым считаются копейки. Потом он медленно, одну за другой бережно подвигает костяшки на самом верху счетов – там где рубли, тысячи, десятки тысяч рублей. Рука Костыля прижала эти верхние костяшки, и он говорит:

– А оставляем вот это. Понятно?

Я согласилась бы с ним, если бы не откровенное торжество во взгляде этого человека.

– Как вы смеете? – горячусь я. – Да, мы оставили много. Но мы начали наступление. Главное, мы побили их! А ведь тевтоны несколько последних лет считались непобедимыми. Понимаете: бьем фашистов! Бьем! Это начало нашей победы.

– Ох и не скоро же это будет.

– Неправда! Вы же сами воевали с ними, вы их знаете.

– Воевал. И в плену был у них. Вот и говорю потому, что знаю. Не скоро победа будет, барышня.

И понизив голос, нагло глядя мне в самые зрачки, отчетливо и раздельно, по слогам, добавил:

– Да и бу-дет ли?…

Сколько же мне стоит, чтобы не выхватить счеты из рук Костыля и не запустить их ему в голову! Дать бы разок по этой гнусной роже, встряхнуть бы жирные мозги! Так и подфутболила бы его наглую шапку с кожаным верхом! Но что я могла сделать? Как могла уличить его в неверии в нашу победу? Ведь то, что он сказал мне, никто кроме меня не слыхал. Мы были одни в правлении. Рассказать кому-нибудь? Кому? Да и не метод это – рассказывать о таких вещах. Посадят его, а вдруг он просто-напросто болтал? Что если я ошиблась? Как доказать, что глаза у него были волчьи?

Все это пронеслось в моем сознании, пока я гневно глядела на этого человека и обескураженная его наглостью не могла найти

сразу нужных слов для отпора. Мне только непонятно было одно, почему он осмелился сказать мне такое? Как мне ответить ему? Я была полна той святой правдой, которая жила в сердце каждого человека, я *верила*, Костыль же бил меня арифметикой. Но ведь кроме арифметики есть еще и алгебра, диалектика есть? Об этом горячо выкрикивала я Костылю, когда тот, притворяясь, что не понимает меня, торопливо уходил из правления.

Мне и до сей поры неясно, правильно или неверно поступила я тогда, никому ни слова не сказав о том разговоре? Теперь бы я сумела справиться с Костылем. А тогда…

…Каждое молодое поколение романтично по-своему. Одни шли на фронты Гражданской войны и защищали молодую Советскую республику, другие ехали создавать новую жизнь – организовывали колхозы, третьи строили Днепрогэс, Комсомольск, Магнитку. Моему поколению довелось переживать Великую Отечественную войну. Наша молодость совпала с войной. И каждый комсомолец (если, конечно, он настоящий комсомолец) мечтал в ту пору с оружием в руках драться с врагом. Я тоже думала о фронте.

Скоро я почувствовала, что просто не могу больше отсиживаться в тепле.

Утром, как всегда, иду на работу в правление и вижу, как начинается нелегкий день военного времени для моих новых односельчан. Кто спешит на ток – молотьба еще продолжается, кто на ферму. Вон побежали девчата. Эти торопятся на курсы трактористов. Скоро на их полудетские плечи лягут тяготы весеннего сева. Они еще не совсем представляют себе, как им будет трудно весной, бегут, перебрасываясь шутками.

Я слышу, как жалобно скрипят полозья саней, в которые запряжена корова. Это солдатка встала затемно и уже успела побывать на левом берегу Волги. Она нарубила большой воз тонкого краснотала. На усталом, изможденном лице этой женщины некоторое подобие улыбки – видно, считает в уме, на сколько же дней хватит теперь топлива.

– Ну пошла, буренушка, – подгоняет она тонкой хворостинкой свою усталую корову с заиндевевшими боками. Буренка ускоряет шаги, воз заносит, сани резко кренятся на бок и…

Рыхлая груда тонких хворостинок оказывается на снегу.

– Стой, холера! – озлобленно ругается женщина.

Я спешу на помощь. Останавливаю коровенку, а потом тороплюсь к женщине. С тупым покорным выражением лица она без единого слова начинает складывать свой воз. Руки ее замерзли, пальцы совсем не гнутся. Я протягиваю женщине свои шерстяные варежки (подарок Верушки) и взамен забираю выстуженные шубные голицы.

– Погрейте-ка руки…

И начинаю складывать воз.

– Проворная, – произносит наконец женщина, – быстрее меня управилась. Аль приходилось заниматься таким делом?

– Приходилось, – бормочу я, стягивая веревкой воз.

– Спасибо, – растягиваются в скупой улыбке застывшие губы. Ты приходи-тко ко мне, молочком угощу, – радушно приглашает она. – Спросишь Настасью Вавилину, всякий покажет.

Я киваю женщине и тороплюсь на работу. И целый день не покидали меня угрызения совести: устроилась на теплое местечко. Почему же ты не уходишь на фронт? Что держит тебя здесь, в глубоком тылу?

На другой день я, никого не спросясь, пешком отравилась в районное село, километров за двадцать. Только вышла за околицу, как в лицо мне подул влажный ветер – тот, что прилетает только очень ранней весной. Еще лежит на полях плотный наст, еще только чуть-чуть потемнели дороги, еще будут бушевать последние зимние вьюги, еще яростно будет сопротивляться зима, но этот влажный ветер уже принес первую весточку, что весна уже в пути.

Выглянуло солнышко из-за разорванных туч, и показалась голубая голубень неба, заискрились снежинки. Голубоватые, зеленые, красные искорки подмигивали мне: не робей, все будет хорошо. Под ногами скрипел-плакал осевший плотный снег. Я

шагала, широко размахивая руками и бормоча какие-то стихи. И спорили в моем сознании два человека: один говорил, чтоб я не стихи читала, а думала бы, какие слова надо сказать военкому, чтоб послал на фронт. А другой укорял за то, что убежала, не спросясь. Что подумают те добрые люди, которые пригрели и накормили тебя? Скажи им откровенно, что не в силах делить с ними их трудности. Вот и мчишься в военкомат. А проще всего сидела бы дома. Что тебе? Больше всех надо? Тогда первый укорял второго в малодушии и напоминал о московской школьнице Зое. Пристыженный первый умолкал. Может быть, он привел бы еще один довод в свою защиту, да помешал Василий Иванович.

Я остановилась, узнав и председателева коня и санки с плетеной кошелкой, в которых ездил только он один в округе.

– Пошто пешком-то, Лиляна Ивановна?

– Не хотела беспокоить вас, да и лошади на работе нужны.

– Сознательная, – иронически протянул Василий Иванович. – А то, что нарушила трудовую дисциплину и ушла, не спросясь, это как же понимать?

– Я не подумала об этом.

– Не подумала, говоришь? А время-то военное. Как же так можно? И куда ты направилась, Лиляна Ивановна, если не секрет?

– В военкомат.

– Т-а-а-к. Точно мальчишка-подросток. Те тоже пачками на фронт убегают.

– Не могу я, Василий Иванович! Стыдно мне в правлении сидеть. Не на месте я.

Василий Иванович вопрошающе посмотрел на меня, а потом лицо его сделалось хитрым, лукавинкой блеснули стариковские глаза:

– Не на месте, говоришь? Ну что ж – найдем тебе занятие по душе.

– Я на полевые работы хочу!

– И в поле пошлем, коли нужда в том будет.

Когда мы подъезжали к деревне, Василий Иванович спросил:

– В детский сад воспитательницу нам надо. Не пошла бы, а?

– В поле...

– Заладила: в поле да в поле… – рассердился председатель, – в детский сад нужен человек.

– Хорошо, – согласилась я.

…После возвращения моего долго избегала я Василия Ивановича – стыдно было в глаза ему глядеть…

* * *

Я открыла глаза и сразу сообразила, что не проспала. В комнате трудно было еще различать очертания вещей. Светало. Еще боролась поздняя ночь с утром, и заметно побеждал тьму свет. Он входил напористо в окна домов. Проявлялись из полутьмы контуры построек и деревьев.

– Пора! – приказала я себе и, спрыгнув с кровати, стала торопливо одеваться. Главной заботой моей было: не разбудить хозяйку. Но все солдатки, видимо, спят очень чутко.

Верушка приподняла всклокоченную голову с подушки и ворчливо спросила:

– Собираешься? Не спится тебе, полуночница? И куда тебя несет в такую рань?

Она, свесив с постели полные ноги в теплых чулках, у которых темные голенища были надвязаны серой шерстью, медленным ленивым движением сначала протерла заспанные глаза, а потом стала круглой выщербленной гребенкой расчесывать свои сбившиеся седеющие волосы. Верушка сердито дергала свои непослушные космы и, не унимаясь, ворчала:

– В поле, вишь, захотела. И чего ты там забыла? Аль приглянулся, поди, который? Дедок али подлеток? А?

И здесь же сама себе невозмутимо отвечала:

– Как же, приглянется? И на что теперь, прости господи, глядеть-то? Мне и то не на кого, а ей – молодой девушке? На кого ей там глядеть? И кто ее гонит туда, в даль такую? В мирное время на лошади едучи, и то устанешь. Спала бы себе, пока солнышко

пригреет, да бежала бы потом к своим ребятишкам. Так нет же…

Кто не знал близко мою хозяйку, подумали бы, слушая ее сейчас, что она глубоко возмущена поступком своей квартирантки, но я-то чувствовала, что Верушка с глубоким уважением относится к моему комсомольскому поручению и с гордостью рассказывает у колодца, что Лилянку «определили агитатором» в бригаду трактористов. Ворчала же она просто для формы, даже радуясь тому, что есть в ее доме человек, на которого можно поворчать.

Едва покончив со своей прической, она проворно зашлепала на кухню, чтобы наскоро приготовить для меня завтрак.

… И вот я уже за околицей. Тороплюсь к трактористам. Мысленно прикидываю, с чего начну пересказ сводки Совинформбюро. Как рассказать о выполнении плана соседней бригадой, чтобы вызвать не глухое раздражение, а поднять дух настоящего соревнования? Как донести до людей главную идею: народ и на фронте, и в тылу, напрягая все силы, отстаивает святую правду, борется за жизнь. Это знают и без меня, но сказать об этом следует так, чтобы почувствовал каждый, как нужны его руки всему народу, что делает он очень важное дело.

Трудовые руки… Как не хватает их. Трудно идет сев. Трудно с семенами. А техника? Где-то вдали пыхтят латаные-перелатаные тракторы. В пору бы их в утиль (и стояли они, видимо, в МТС как негодные), но ничего не поделаешь. Вот и «стреляют» в поле моторы, чихают вовсю инвалиды-тракторы. Их бы на запасные части разобрать, а они пашут кое-как. А как быть? Лошадей-то почти нет. А на коровах какая же пахота? На коровах огородишко только и можно расцарапать. Но мы с Верушкой копаем свой огород вручную. (Корову хозяйка бережет). Я разглядываю свои ладони. Да, Лиляна Ивановна, давно ты не держала в руках такое примитивное орудие труда. Вон какие мозолищи вскочили – разных калибров, большие и маленькие, волдыри и сухие, – всякие… Война…

За спиной у меня разгорается полнеба. Скоро взойдет солнце. Чирикают птицы. А от земли поднимается легкий пар. Дышит

кормилица. Я шагаю по еще не вспаханному полю и чувствую себя нужной и полезной людям. Мне очень хочется, как можно больше помочь этим мальчишкам и девчонкам, этим солдаткам, которые работают до изнеможения, чтобы фронт получил хлеб. Я тороплюсь к девчонке-трактористке, которая возится у своей машины.

– Что, остановился скакун?

Девчонка не отвечает. И как же это я не разглядела сразу, что она усталая, хочет спать и снова собралась плакать, потому что не заводится трактор. Лицо девчонки измазано пылью, слезами и масляными пятнами.

– Дай-ка я попробую, – и беру у нее тяжелую заводную рукоятку в виде буквы «Г».

Когда-то видела я, как ловко получалось это у Коли Савчука. Сильный рывок – и трактор загремит, заходит ходуном. После этого Коля небрежно бросал железяку, и она, звякнув у самого сиденья, робко замолкала. Но в моих руках эта железка показывала характер. Она так же не повиновалась, как и незнакомой трактористке.

– Погоди-ка, я… – бормотала девчонка.

Мы бились до седьмого пота, как пожизненно осужденные, без всякой надежды на какую бы то ни было помощь со стороны.

– Может быть, трактор сломался? – робко спрашивала я.

– Целый, – сердито отвечала девчонка.

Мы были в отчаянье и не замечали, что у обеих на глазах закипают горькие слезы обиды.

Казалось, помощь можно было ожидать только разве с неба. Но бездонный серо-голубой купол не собирался, видно, внимать нашему горю – он безразлично взирал на земные страдания, на скупые и злые слезы наши, – и все оставалось по-прежнему. Но помощь пришла. С земли! Появилась она в виде чумазого мальчишки, из тех, которые умеют все на свете, хотя им еще и не доверяют взрослые показывать это умение.

Мальчишка ни о чем не спрашивал. Он сбросил свой

замызганный старенький неопределенного цвета пиджачок, молча поднял валявшуюся в борозде заводную рукоятку и, напрягаясь так, что веснушчатое лицо его побагровело, с силой рванул рукоятку на себя. И трактор, словно испугавшись будущего мужчины, покорился – сердито фыркнул и затарахтел на всю округу.

Мальчишка точно таким же движением, как когда-то Коля Савчук, небрежно бросил «железку» на сиденье, чумазая трактористка проворно вскочила и, шмыгнув носом, размазывая рукавом замасленной куртки на щеках своих слезы и машинное масло, поторопилась усесться на высокое сиденье. Затем она поспешно ухватилась за рукоятку, переключая скорость.

Тарахтя на все поле, трактор потащил тяжелый многолемешный плуг. Широкая черная извилистая борозда потянулась за ним.

Мальчишка не спеша натянул на плечи свою одежку, презрительно сплюнул сквозь зубы, явно подражая взрослому, и надменно изрек:

– Бабы… Маята с вами, борозды прямо не вспашут… – и зашагал к домику на колесах, который назывался полевым станом. Я, точно виноватая, торопливо засеменила следом за задавакой.

…Возвращалась я обратно в деревню, когда уже взошло солнце. Мне надо было спешить, я бежала прямо через вспаханное поле и ноги мои по щиколотку погружались в прохладную пахоту. Черные комки жирной земли, мелкие камешки, соломинки, обломки сухой прошлогодней травы сыпались в мои растоптанные полуботинки. Скорее, скорее. Надо еще вымыться, надо появиться вовремя в детском саду. В глубине души я даже немножко гордилась тем, что успела сделать. Политинформация прошла удачно. Перед моими глазами вставали чумазые трактористы, которые, стараясь не пропустить ни одного моего слова, слушали сводку Информбюро за вчерашний день. Ничего, что всего лишь днем позже узнавали они, как идут дела на фронте.

Впереди виднелась Волга. Она казалась совсем рядом – рукой подать. Вот если бы найти время постоять хоть бы немножко,

поглядеть, как блестят-переливаются ее могучие волны. И сама Волга, как человек – то ласково посмотрит на тебя, а в иной день бывает строгая, недовольная, а то течет себе равнодушно, и нет ей никакого дела до несказанного горя тех, чьи дома выстроены на ее высоком берегу.

Ласково светит весеннее солнце, и в высоком поголубевшем от солнечного света небе летают гордые птицы. Полетели бы они в мой край и принесли бы весточку из родной Белоруссии. Как там мама? Что там делается? В тридевятом царстве оказалась она теперь – ни доехать, ни дойти. Перерезала землю кровавая и огненная река, и называется эта страшная черта линией фронта. И там, в пекле том, где-то в своем танке – Коля Савчук. Хоть бы весточка от него. Жив ли?

…Я успела в свой детский садик вовремя. Перед самым моим носом прошмыгнули в дверь двое детишек Настасьи Вавилиной. Кого они мне напоминают? Что-то очень уж знакомые личики. Ах, да… Они точно сошли с полотна Корзухина. Может быть, дома точно так же делят последнюю краюшку хлеба.

Тороплюсь в маленькую комнатенку, которая служит и складом, и моим «кабинетом». Под стеклом небольшой исписанный листок – это я вчера еще с вечера наметила, что буду делать сегодня. Главное – ничего не забыть. Сегодня предстоят разные дела: получить на складе вместе с поварихой продукты, подобрать интересную книжку с картинками и придумать новую игру. После завтрака надо до самого полдня занять детей, накормить их, уложить спать, а самой во время тихого часа сбегать в правление – послушать очередную сводку Информбюро и узнать, как идут дела в той тракторной бригаде, с которой мы соревнуемся. Не забыть подготовиться к беседе (завтра утром – снова в поле). Перед ужином надо начать разучивание новой песенки. А какой? Если бы я хоть немножко училась тому делу, за которое сейчас взялась… А делать кое-как, не могу. Совесть не позволяет.

За постоянными заботами не заметила, как промелькнул этот длинный весенний день.

Перед ужином помогаю детишкам вымыть руки. Льется вода из рукомойника, сверкают на солнце блестящие брызги. Малыш, которому я помогаю, блаженно улыбается. Младшенький Настасьи Вавилиной – круглоголовый, темноволосый, с большими широко расставленными глазищами. Я вытираю его маленькую ладошку чистым полотенцем и не замечаю, что давно смотрит на нас из-за плетня старый почтальон. Он медленно открывает калитку и, тяжело хромая, подходит поближе.

– Вот у этого – он показывает на Настасьиного сына – на той неделе, значит, отца убили. Не понимает еще своего горя – вишь, смеется.

И старик грустно качает головой. Потом он долго молчит, думает о чем-то своем – видно, безрадостном, тревожном. У него тоже на фронте сыновья.

– Понесу вечером похоронную Настасье Вавилиной, – глухо говорит он. – Ты не знаешь ее, поди, Настасью-то? Сама пятая. И куда она с детишками? – размышляет вслух старик. – А годов ей за сорок будет. И двое младшеньких в школу еще не ходят.

Не ожидая от меня никакого ответа, старик, сильно прихрамывая, направляется к калитке.

…Дождавшись, когда заберут из садика последнего ребенка, поздно вечером иду я в правление колхоза. Надо узнать, как работали бригады в поле, прослушать вечернюю сводку Информбюро, выписать для детишек молока.

Дверь в правление приоткрыта – на пороге, на дощатых ступеньках старенького крыльца толпятся заплаканные женщины. Из окна доносится протяжный стон, который разрастается в душераздирающий вопль, и на него откликаются всхлипывания тех, кто толпится на крыльце. Женщины вытирают концами платков заплаканные вспухшие от слез глаза, тихо сморкаются, но не уходят.

Я проталкиваюсь к двери и с порога вижу, как освещенная слабым светом керосиновой лампы бьется в слезах рядом с креслом Василия Ивановича несчастная женщина. Настасья Вавилина стоит

почему-то на коленях, а председатель колхоза, вместе с моей хозяйкой тщетно пытаются поднять ее с пола. Верушка никак не может оторвать вцепившиеся в подлокотник кресла загрубевшие от работы Настасьины руки – они будто приросли к изогнутому крашеному дереву, и кажется, никакая сила неспособна оторвать теперь их. Женщина громко голосит, и я различаю в ее страшном вопле только отдельные слова:

– За что? За что?

И перед глазами моими всплывает заплаканное лицо маленькой москвички Гали Петровой, которая так же, узнав о гибели отца, спрашивала: за что? Я снова видела полные слез светло-карие чуть выпуклые галинкины глаза и слышала ее голос: он самый хороший… за что?

– Как жить-то буду? Не оставьте… не оставьте… – вместе со слезами выдыхала Настасья.

– За что горе-то такое на меня свалилось?…

Она выкрикивает еще какие-то слова – неясные, тонущие во всхлипах, и голова ее клонится долу. Кажется, что все косточки этой рыдающей женщины согнулись от горя и вся она никнет, как стебель горящей, когда-то крепкой травы. Платок сполз с головы, и поседевшие длинные волосы космами падают на пол.

Вокруг стоял хватающий за душу такой стон, что хотелось забиться куда-то в угол, сжаться до самых маленьких размеров. Чем поможешь этим плачущим женщинам? Какие слова утешат Настасью?

Не утешать надо, а драться…

…Когда женщины, плача, причитая и всхлипывая, увели домой Настасью Вавилину, я подошла к Василию Ивановичу. Он, старенький, сгорбившийся, сидел за столом, закрыв лицо руками со вздувшимися венами. Я ждала. Я искала, что сказать такое, что отвлекло бы этого пожилого человека от тяжелых дум. Но таких слов у меня не было. Василий Иванович, почувствовав рядом с собой человека, приподнял голову, провел обеими ладонями по заросшим седой щетиной щекам, будто стирая с них что-то, и

совсем буднично спросил:

– Что тебе, Лиляна Ивановна?

Я стала торопливо говорить о том, что появилась для меня замена – настоящая, квалифицированная воспитательница, бывшая заведующая детского сада в Харькове, жена офицера, из эвакуированных. А я прошу отпустить меня на фронт.

На этот раз Василий Иванович не возражал…

Глава 8
Не сразу я стала бойцом

Конец марта. Весна уже надела калоши и смело шагает по лужам, скоро она доберется и до Урала. Зима отступает, бежит от звенящих капелей, от сверкающих на солнце сосулек, а они свесились с крыш и растут в таком множестве, что вытесняют одна другую; и та, которая послабее, летит со стеклянным звоном на плотный утоптанный потемневший снег. Солнышко растянуло дни – успеваешь теперь сделать больше, чем зимой. С утра я обычно читаю и пишу, потом подолгу смотрю на голые сучья дерева – они приветливо кивают мне и рассказывают о весенних ветрах…

Вечерком прибежала Катюша. Потянуло свежестью, тонким морозцем, заразительным задором юности.

– А я вам жаворонков принесла! – крикнула она с порога, полыхая ярким румянцем.

Лена не спеша отложила свой трафарет и обернулась на голос. Катя подбежала к ней первой и осторожно положила на ладонь что-то выпеченное из теста. Моя слепая подруга обеими руками ласково потетешкала испеченный комок теста, «осмотрела» его быстрым движением тонких пальцев.

– И вправду – жаворонок! Мы в детстве, бывало, тоже лепили их.

Катя подошла ко мне и, лукаво щурясь, положила такое же изделие и на мою подушку. Неуклюжий пряник из серого теста с еле заметным расплывшимся клювом и глазками-коноплинками напомнил детство, родную деревню, маму.

Защекотало в горле и мучительно захотелось рвануться с надоевшей госпитальной койки, подбежать к окну и, широко распахнув его, подставить свежему резкому весеннему ветру заплаканное лицо.

– Расчувствовался, солдат? – полюбопытствовала Лена.

Удивительно она знает меня. Но попробую обмануть:

– Зачем же? Сантименты разные…

– Сантименты, говоришь? Ну-ну, – покровительственным политруковским тоном сказала Лена. – А стыдиться нечего.

Я ничего не ответила. На какой-то миг задел меня ее тон, тон старшей. Почему она поучает? Но такая мыслишка только шевельнулась и, устыдившись самое себя, тотчас же пропала. А может быть, Лена и права? Она больше моего была на фронте. На войне же, как известно, люди быстро взрослеют. Со мной тоже было… Да, не сразу я стала бойцом.

Началось это так…

Молчаливый военком взял у меня паспорт и бросил в общую груду. Там было их много – новеньких и потрепанных, в разноцветных корочках и бумажных обертках – наших самых главных личных документов. И с этим скупым жестом незнакомого человека вся моя жизнь оказалась резко расчерченной на две части – штатскую и военную.

…А потом мы, девушки-добровольцы, шагали посередине пыльной улицы районного приволжского села и, шаркая ногами, поднимая облако пыли, не очень-то стройно тянули какую-то бодрую песню. Смешанные чувства боролись во мне – чувство гордости (меня взяли в армию) и чувство тревоги и неуверенности (расстаюсь с привычной штатской жизнью; что ожидает меня?). Но лейтмотивом всех моих мыслей было: я еду на фронт, защищать Родину. Это чувство переполняло меня и поднимало в собственных глазах.

На нашу песню из окон маленьких деревянных домишек выглядывали женщины, наскоро вытирали ладонями заплаканные лица и махали нам вслед огрубевшими от тяжелой мужской работы руками. Детишки бежали по травяной обочине, вдоль наезженной части дороги и с любопытством заглядывали нам в лица. А мы шли, гордые таким вниманием, с высоко поднятыми головами. Никто из нас не думал в ту пору, что не каждая вернется домой, что иные из нас и эти улички, и маленькие дома под тесовыми крышами, и Волгу, сверкающую вдали приветливым серебристым блеском,

видят в последний раз. Все у нас было впереди, а неизвестность… Очень хорошо, что есть она у человека, эта неизвестность.

На вокзале я заметила, что почти каждую из моих новых товарок провожал кто-нибудь – или родные, или знакомые. А я уже простилась с теми, кто поздней холодной осенью прошлого года приютил меня. Поплакали на моем плече девчонки-трактористки и, размазывая пыль и мазут по щекам, убежали в поле; поголосила хозяйка-Верушка; Василий Иванович пожал руку, а потом быстро отвернулся и торопливо зашагал к правлению. Всем им надо спешить – работы в поле непочатый край – потому до станции и не провожали меня. Я понимала это и не обижалась. Но все же щемило сердце: никогда в большой и шумной многоголосой толпе я не чувствовала себя так одиноко, такой маленькой и заброшенной.

Когда мы садились в вагоны, подошла ко мне какая-то пожилая женщина. Смуглое морщинистое лицо ее казалось застывшим, бесстрастным. Она напоминала оживший лик неизвестной мне святой, изображение которой я видела в зале древнерусской живописи в Третьяковке. Время стерло с лица этой пожилой женщины все яркие краски, не пощадило и глаз ее – огромных, со строгим взглядом. Мне даже стало не по себе, когда я заметила устремленный на меня взгляд. Потерявшие блеск глаза смотрели испытующе-требовательно. И как не вязался ее облик с тем, что говорила она и делала. Эта незнакомая женщина дотронулась до моей руки и по-волжски сильно окая, спросила:

– Гляжу-тко, не провожает тебя никто. Пошто?

– Проводили уже, бабушка.

– Сама-то нездешняя, поди? Родные-то где?

– Родные!? Далеко родные, там немцы теперь.

Женщина ни о чем больше не спрашивала, а только глядела на меня в упор темными глубокими глазами, и губы ее чуть заметно шевелились. По-видимому, она молилась. Я стояла рядом, не смея прерывать ее разговор со святыми, в которых она верила.

– Ну, храни тебя господь, – вслух закончила она и высохшей

рукой трижды перекрестила меня. Потом вынула из-под платка, которым несколько раз была обмотана ее шея, светлый крестик и протянула его мне.

– Не надо, бабусенька. Оставьте себе, – осторожно отвела я от себя руку женщины. – Долгих лет вам, хорошая. Пусть вернутся с войны все ваши родные.

– Ну как знаешь, – строго, но необидчиво ответила женщина. – Возвращайся и ты невредимая. А это возьми-тко, пожуешь в дороге, – и сунула мне кусок пирога, завернутый в исписанные листки от школьной тетради.

Я растерялась. Стою на перроне и не вижу, не слышу ничего – ни гудка паровозного, ни криков девчонок. Спохватилась, когда состав медленно двинулся мимо меня. Пришлось на ходу прыгать. Стоя уже на подножке вагона, увидела я, как моя бабуся смотрит вслед нашему эшелону и крестит его мелкими крестиками… Это – точно Родина благословила меня, только по-старинному…

Стучат, стучат колеса вагонов, будто выговаривают:

– На фронт… на фронт… на фронт…

Плывут за окном вагона светлокудрые березки, убегают говорливые холодные ручьи, плавно поворачиваются пустынные полянки и большие цветастые луга. Все быстрее бежит поезд, наплывают, бросаются под колеса просмоленные черные деревянные шпалы, гудят блестящие стальные рельсы:

– На фронт… на фронт…

А мы смеемся и балагурим, поем песни и рассказываем анекдоты. Мы просто не представляем себе, что нас ожидает – ведь войну каждая видела только в кино. Мы живем сообщениями о зимней победе под Москвой и думаем, что теперь будут только радостные сообщения. Эх, девчонки, девчонки…

Усталый сильный паровоз, осуждая нас за легкомыслие, за смех и шутки, зафыркал, зашипел и остановился.

Мы высунулись из окон. Маленькая станция… Неизвестно, сколько простоим здесь. Напротив нашего, через несколько путей,

встречный состав. Меняют паровоз. Полный эшелон детишек.

– Ленинградские дети, – сказал проходивший железнодорожник.

– Из тех, кто обманул смерть, – добавила пожилая интеллигентного вида женщина.

Нет, такое даже во сне увидеть страшно: изжелто-синие сморщенные личики, тонюсенькие шейки. Да что там...

…Я видела, как неопределенных лет женщина с худым изможденным лицом осторожно спустилась со ступенек вагона, а потом протянула руки, и кто-то стал подавать ей по одному детишек, которые, видимо, вышли в тамбур. Пятеро или шестеро скелетиков двинулись за женщиной. Одного, самого маленького, она взяла на руки. И он, высохший, тоненький, все равно был тяжел для изголодавшейся женщины. Но она все же перенесла его через рельсы на малюсенькую лужайку у какой-то станционной постройки. Ребенок показал на цветок, и женщина осторожно опустила его на землю.

Старшие шли тихонько гуськом друг за другом. Нет, они не вертели головами по сторонам и ни о чем не расспрашивали. Они просто шли по ярко зеленой густой траве, недавно вымытой дождем, а младший, тот, что потянулся к цветку, тот, которого несла женщина, опустился на корточки у желтого одуванчика. Он осторожно погладил мохнатый ярко желтый цветок худенькой ручонкой. Старшие дети уселись на траве и очень большими, очень грустными глазищами рассматривали лужайку, дома, поезд. А маленький задремал на траве. Подбежала та худенькая женщина, взяла его на руки и поспешила к вагону, старшие тихонько и снова гуськом потянулись за ней следом.

– Господи, господи, – громко шептала у меня над ухом крепкая круглолицая девушка. – Да что же это такое?

Наш поезд медленно отходил от станции. Только во всем нашем эшелоне было непривычно тихо – никто не пел, не шутил, не смеялся…

* * *

…Наша дивизия формируется в одном из подмосковных военных городков. Все здесь для нас необычно, ко всему надо привыкать. Нам уже выдали новенькое обмундирование – узкие юбки и широченные, не по росту, гимнастерки. Но мы не унываем – юбки каждой из нас впору, только некоторым, и мне в том числе, чуть коротковаты. Значит, надо малость отпустить подшивку, а гимнастерки следует просто перешить. Из большого малое выкроить – нехитрое дело.

Я перешиваю свою гимнастерку и с благодарностью думаю о Валентине; это она научила меня шить.

– Лилянка, правильно я делаю? – обращаются ко мне мои новые подруги. Я рада каждой помочь. Это так хорошо, когда ты нужен твоим товарищам. Рядом со мной посапывает круглолицая широкоплечая дивчина. Я приметила ее еще в вагоне. Теперь знаю ее имя – это Клава Семенова. Кроить ей, видимо, не приходилось раньше.

– Лилянка, посмотри-ка, – и Клава показывает мне свою работу.

– Много забрала в рукава, распори шов, – советую я.

Но у Клавы не получается.

– Дай-ка, – и я делаю наметку. – Теперь примерь-ка.

Клава послушно натягивает на свои широкие плечи гимнастерку с приметанными на живульку рукавами.

– Ты все умеешь, Лилянка, – говорит Клава. – Давай будем держаться вместе.

– Хорошо. Только я очень многое не умею. Не умею колоть дрова, косить траву, белить хату и еще много чего не умею.

– А нам косить траву и белить стены не придется, – резонно возражает Клава.

– А если?…

– Научимся! Жизнь прижмет, и научимся, так я понимаю, – уверяет меня моя новая подруга. – Только ты не думай, что я какая-нибудь безрукая. Шить не умею потому, что у нас младшая

сестренка всех обшивала. Хромая она. А я больше в колхоз на полевые работы ходила.

– Я тоже работала в колхозе.

Клава удивленно смотрит на меня и не верит:

– Ты тоненькая, хлипкая… – безжалостно констатирует она, какой из тебя работник?

– Нет, почему же? Я и до войны работала немножко в колхозе. Я умею. И росла в деревне.

– Что-то не похожа ты на колхозницу.

– Я только несколько лет перед войной в городе жила.

– Работала?

– Училась.

– На кого ты училась?

– Историком хотела быть. Да вот…

– И будешь! Вот попомнишь слово мое – будешь! – Горячо заверила меня Клава. И такая уверенность была в ее словах, что я поверила этой почти незнакомой девушке, что все будет хорошо и что я все-таки закончу университет.

…Нас учат всему на свете – и как подпоясывать ремень, и как наматывать портянки, и как надевать пилотку. Подворотнички я умела пришивать, а все остальное для меня было ново.

– И где ты научилась, Лилянка, подворотнички пришивать? – спрашивала Клава.

– Практика, милая, – отшучивалась я. – Готовилась в жены к военному.

– А ты, часом, не была замужем за военным?

– Как же! У меня было три военных мужа, – уверяла я подружку, не моргнув глазом.

Так и не добившись ничего от меня, Клава прекращала расспросы.

…Труднее всего было научиться скатывать шинель. Не могу простить себе, что так и не научилась этому раньше. Стасик как-то тренировался со старой Яшиной шинелью и меня звал, но я отмахнулась. А теперь бы наука та очень пригодилась.

В общем, мы прилежно и терпеливо начинали постигать трудный курс солдатского учения. Нелегко было нам заниматься строевой подготовкой. Выдали сапоги сороковых размеров «с хвостиком», а я ношу – тридцать шестой.

Клава трясет перед носом у старшины сапогами сорок второго размера и требует другие, поменьше которые. А что же говорить, если я обнаружила, что достались мне сапоги один сорок первого, а другой – сорок второго размера?

– Ничего, – язвит Клава, – план по объему перевыполнен. Девчонки дружно смеются, а старшина только смущенно крякает. («Как утка», – шепчет Клава). Я надеваю свои чеботы и официальным бодрым тоном заявляю:

– Товарищ старшина, у нас универсальная профессия – хоть в пехоту, хоть на море. Лодки на ногах есть, только плавать теперь научиться.

Кто-то откровенно захихикал.

– Языки у вас универсальные, – ворчит старшина и уходит подальше от греха.

Потом все наладилось. Через несколько дней нам обменяли сапоги на женские, и мы по внешнему виду стали походить на заправских солдат.

По внешнему виду… Но солдатами стали мы много позднее. Не сразу я стала бойцом.

Солнце медленно ползло к гребенке леса. Ветер, словно утомившись за день, утих. Травы и цветы стояли застывшие и словно недоумевали, что это делается на земле – сначала горит все, и темный дым закрывает небо, сыплется пепел, а то затихает все, и стоит первозданная тишина, и по-прежнему поют в кустах птицы.

Было особенно по-мирному спокойно, и совсем не хотелось верить, что где-то от грохота и лязга железа глохнут люди, раскаленные страшные зазубренные осколки металла летят навстречу живому. А здесь была баюкающая тишина. Хотелось сесть где-нибудь в укромном уголке и думать, думать.

Такой уж у меня характер, что не привыкла я, как только

познакомлюсь, сразу же выкладывать все о себе. И до сих пор ловлю себя на том, что не могу до конца даже очень близким людям рассказывать о том, что меня мучает. Стараюсь больше сама быть себе и судьей, и советчиком. В моей жизни было всего два-три человека, с которыми я была более-менее откровенна. Это люди, которым я бесконечно верила. Первой была Валентина, но ее нет больше. Еще был Коля Савчук, и прошел он сквозь мою жизнь, как яркая нежная утренняя песня. И, наконец, Аркадий Петрович, наш медсанбатовский политрук. Любопытно началось наше с ним знакомство.

В тот вечер нельзя мне было оставаться со своими думами – я приступила к обязанностям санитарки, дежурила первый раз в своем приемно-сортировочном взводе. Дежурить – это значит целые сутки находиться на рабочем месте, в пустой пока палатке. Вечером нельзя спать. Уснет сестра, уйдет на квартиру врач, а ты, санитарка, сиди, не смыкая глаз, и жди, а чего жди? Я и сама не знаю…

Честно говоря, такое дежурство меня не очень-то привлекало. Я считала все это никому не нужной затеей, но… Но надо же мне было привыкать к воинской дисциплине.

Как только я узнала, что меня назначили дежурной, у меня даже пропала охота быть одной. Сразу потянуло к людям. Мне захотелось быть среди своих девчонок, которые, наверно, собираются в ДКА. В ДКА сегодня танцы. Я слышу веселую музыку. Звучат валторны и флейты, поют баритоны, и вторят им басы. Играет полковой оркестр. Музыка уносит меня куда-то в поднебесье, но… Но с небес на землю возвращает меня строгий голос моей непосредственной начальницы – медсестры Нади Волковой. Она торопливо сует мне в руки два круглых новеньких солдатских котелка и что-то торопливо говорит, но я сразу не могу понять, что именно. Надя торопит меня и даже покрикивает:

– Ты какая-то бестолковая, Лиляна. Беги скорей, а то кухня закроется, и Галина Ахметовна останется без ужина.

Я, наконец, начинаю понимать: от меня просто-напросто

требуется сбегать за ужином для дежурного врача. Вот почему в моей руке оказались два котелка: для супа и для каши. Когда я все это постигаю, во мне поднимается бурный протест. Как это так?! Я добровольно пошла в армию, чтобы служить Родине, чтобы воевать с врагами, чтобы выносить с поля боя раненых или ухаживать за ними в любом госпитале – ближе или дальше от передовой, не имеет значения, а здесь меня заставляют быть просто-напросто лакеем. Ни за что! Да кто она такая, эта врач, чтобы ей носить ужин?

Я пытаюсь доказать все это Наде, но она нетерпеливым жестом прерывает мои сентенции, строгим, настоящим командирским голосом ставит меня по стойке «смирно» и официально приказывает идти на кухню за ужином для старшего лейтенанта медицинской службы.

Я с угрюмым видом отправляюсь выполнять приказание, но долго не могу успокоиться: подумаешь, цаца какая Галина Ахметовна! Сама не может сходить в столовую. Величина первой степени. Всего год как закончила институт, а нате вам – начальство!

И не только дело в том, что я считаю неправильным приказ медсестры Волковой, мне почему-то стыдно бежать через весь военгородок с котелками. Все принарядились, гуляют, спешат в ДКА, а я… исполняю лакейские обязанности…

Вот такую мрачную и надутую, возмущенную несправедливостью, встретил меня наш политрук Аркадий Петрович Жемчугов. Как только я заметила его, то первым моим желанием было «раствориться», юркнуть в придорожные кустики и переждать когда он пройдет. Мне не хотелось, чтобы политрук увидел мое рассерженное лицо и… самодовольно сверкающие котелки в моих руках. Я шарахнулась было к кустам, но Аркадий Петрович, видимо, считал это непорядком. Он остановил меня.

– Лиляна Орлович?

– Так точно, – насмешливо ответила я. Потом сообразила, что не поприветствовала старшего по званию и не знала, как это

исправить. Но политрук сделал вид, что не заметил моей оплошности.

– Вы торопитесь, товарищ боец?

– Да вот… я… сейчас… пока…, – несвязно бормотала я что-то совсем уж несуразное.

– Говорите-ка повнятнее, – посуровел политрук.

– Я иду за кашей для врача. Точнее: за ужином! – с вызовом отчеканила я и сердито поглядела Аркадию Петровичу прямо в глаза.

– Ну что ж, идите, – бесстрастно ответил он.

– Нет! Я не могу так! Я должна…

– Вот что, Орлович, Вам приказано принести ужин командиру. Выполняйте приказание!

Аркадий Петрович повернулся и зашагал по бетонированной дорожке, скрипя начищенными сапогами. А я с двумя котелками поплелась на кухню. Здорово получилось! Поговорила, называется, с политическим руководителем, открыла душу. Злые слезы навертывались у меня на глазах, казалось, даже придорожные кусты против меня – так насмешливо и крепко стегали они по ногам.

Размышляя о горькой своей участи, вернулась я в подразделение. Хорошо, что хоть успела, а то, пожалуй, получила бы взыскание за командирскую кашу.

Я уселась у брезентовой стенки нашей палатки и задумалась. Почему мне здесь так не везет? Почему всё против меня? Как всё меняется – в эвакуации ко мне относились с уважением, были чутки и внимательны, а здесь… Не началась еще и служба, как я почувствовала себя совсем ненужной, а все, что заставляют меня делать – бессмысленным. Я как-никак студентка третьего курса университета, а меня заставили, точно лакея, бежать за ужином. И кому? Такой же девушке, как и я. Ну что с того, что она старшая по званию! Подумаешь, врачишка без году неделя. И не стыдно ей есть ужин, принесенный другими! Мой брат был старше ее по званию, но дома все делал сам и отказался от ординарца, который

был ему положен. (А не путаешь ты, Лиляна, положен ли был брату ординарец?… Ну, ладно. Дело не в этом). А здесь… Вчерашняя студентка…

Как мне постичь все это? Даже политрук не посчитал нужным выслушать меня как следует. К кому пойдешь со своими думами?

Но идти, оказывается, не надо было никуда. Аркадий Петрович сам пришел к нам. Он точно из-под земли вырос. Я вспыхнула, вскочила на ноги и застыла по стойке «смирно».

– Вольно, вольно, – рассмеялся Аркадий Петрович, усаживаясь у брезентовой стенки палатки. – Так о чем ты хотела рассказать, Лиляна?

Я уловила совершенно другую интонацию и почувствовала даже нечто дружелюбное в словах политрука, но все же не решалась снова начинать разговор на неприятную для себя тему. И кто его знает, этого человека? Может быть, он поговорит со мной, а потом перед строем расскажет девчонкам, какие еще «гнилые настроения» бытуют среди вновь прибывших

– Трудно говорить? – спросил политрук.

– Не трудно, но…

– Но неизвестно, зачем политрук снова начинает об этом разговор? Не так ли, Лиляна?

– Почти так.

– Ты не хочешь откровенного разговора.

– Почему? – храбро возразила я. – На то вы и политический руководитель, чтоб воспитывать массы.

– Не ершись. Давай поговорим по-хорошему. Разговор этот нужен нам обоим, а тебе даже больше, чем мне. Ну…

Я видела добрые глаза, устремленные на меня, видела хорошее, располагающее лицо. Нет, он не похож на Тетерю – нашего деревенского «ортодокса», Аркадий Петрович напоминает скорее педагога. И я решила быть до конца откровенной. Будь что будет!

Я заговорила о том, что ехали мы сюда не для того, чтобы с котелками бегать за кашей для врачей, а чтобы воевать. И еще

много разных высоких слов выпалила я единым залпом. Аркадий Петрович слушал меня очень внимательно.

– Ну и наговорила ты, – улыбнувшись, произнес он, когда я закончила свою слишком пылкую речь. – Какой же ералаш у тебя в голове. Честно говоря, ожидал я от тебя более трезвых взглядов на жизнь, более глубокого понимания обстановки. Давай разберем конкретный случай, этот самый «факт с кашей», который столь глубоко задел твое самолюбие. Во-первых, ты выполняла приказ – ходила за ужином для твоего командира. В этом нет ничего унизительного.

Я сделала протестующий жест. Но Аркадий Петрович словно не заметил его. Он продолжал:

– Во-вторых, и это самое важное: ты не понимаешь еще, что в армии не обсуждают приказы. Их выполняют и после выполнения позволяют себе, если убеждены, что приказ был неправильным, обжаловать это.

– Товарищ политрук...

– Погоди. Дай досказать. В-третьих, о желании воевать и о разных громких словах. Верю, что говорится все это искренне, иначе не стал бы я на тебя сейчас тратить время… Я верю, что ты и другие девушки пришли добровольно в армию, чтобы принести пользу своему народу. Если надо, то и воевать! Если надо, заменить мужчину на работе в тылу или в прифронтовой полосе. Словом, ваш поступок – благородный поступок – означает: распоряжайся нами, Родина, по своему усмотрению. Не правда ли?

– Правда.

– Все это так, но сегодня ты доказала как раз обратное. Ты своим поступком заявила, что рано еще тебе и таким как ты на фронт.

– Но… товарищ политрук!

– Я не кончил еще... Вот доскажу и потом тебя буду слушать.

Аркадий Петрович уселся поудобнее, снял пилотку, положил ее рядом с собой и продолжал:

– Чтобы стать настоящим бойцом, тебе еще очень многому

надо учиться. Что так удивленно смотришь? Да! Многому учиться. Учиться дисциплине, – это самое важное. Учиться большой воинской дружбе. Ты по натуре замкнутый человек, – я вижу это. Ты надеешься только на себя, а это глубокое заблуждение. Ты не постигла еще очень важного: необходимости взаимной поддержки. Это же совершенно необходимо понять: всегда и во всем помогать тем, кто с тобой рядом, чувствовать локоть своего товарища.

– Я не такая уж эгоистка и себялюбка, – не совсем удачно вставила я.

– Верю, – откликнулся Аркадий Петрович, даже не улыбнувшись мне на «себялюбку». – Но, мне кажется, – продолжал он, – ты готовила себя в мечтах для какой-то особой героической жизни. Ты мечтала о подвиге, о таком подвиге, как их рисуют в слабеньких рассказах или в плохих фильмах. Но героизм бывает и в очень простом – уже в том, что человек в трудную минуту сумеет найти правильное решение, не забыть о своих товарищах, о своем долге перед Родиной. Героизм в том, что человек на своем месте умеет быть максимально полезным, действует со всеми вместе, выполняет приказ своего командира. Там, в бою, выше приказа командира нет ничего для бойца.

Аркадий Петрович помолчал немного, подумал, а потом снова заговорил:

– Вот ты говоришь о враче. Даже возмутилась, что тебя, тебя Лиляну Орлович, студентку МГУ, послали за ужином для такой же девушки, как и ты сама.

– Откуда вы знаете о моих мыслях?

– Ну это, допустим, не так уж трудно угадать, – усмехнулся Аркадий Петрович. – Но я еще не кончил, наберись терпения, дослушай. Ты возмутилась… Казалось бы, не стоило на все это обращать внимание. Мелочь бы вроде. Нет! Если присмотреться, не такое уж пустое дело. Досаднее всего, что тебе еще очень тесно в рамках воинской дисциплины. Она, дисциплина эта, больно задевает твое «я». Честно говоря, для меня твой поступок, Лиляна, явился полной неожиданностью. Ты – вчерашняя колхозница,

студентка, не белоручка. Ты неглупая, серьезная. Недалекую пустышку могла бы испортить жизнь у брата, видного военного, но не тебя. Кстати, почему ты никому из девчат не рассказываешь о себе, о своем прошлом?

– Не считаю нужным, – буркнула я.

– Ну что ж… Но вся беда в том, что тебя уже задел грибок интеллигентщины. Понимаешь, в каком смысле я говорю? Да, да! Не возмущайся. Ты же училась чему-то в университете. Даже зачеты сдавала по основам марксизма-ленинизма. А для чего же, спрашивается, изучала ты тогда Ленина? Небось, стоит зачет по работе «Шаг вперед, два шага назад»? Помнишь, что говорил Ленин о дисциплине?

– Помню. А Плеханов тогда спорил: мы не крепостные! Плеханов не хотел подчиняться партийной дисциплине, я знаю это. Зачем вы такие параллели проводите? Неверная это аналогия.

– Нет, верная! Как же можно комсомолке, бывшей студентке, тяготиться воинской дисциплиной?

Я низко опустила голову и ждала, что еще свалится на меня, и в чем еще обвинит меня безжалостный политрук.

– В армии боец видит в своем командире, – продолжал политрук, – и старшего по званию, и товарища. Ценит воин своего командира. Бывает, что телом своим прикроет в бою. Тебе это должно быть известно. А как ты поступила? Тебе показалось унизительным сходить за ужином для своего командира. Нет, не получается из тебя пока бойца, Лиляна.

Я слышу в словах Аркадия Петровича глубокое сожаление и улавливаю какую-то крупицу надежды. Крупицу. Может быть, она, эта надежда, в маленьком и незаметном слове «пока».

Я бесцельно шарю по земле руками и нащупываю сучковатую палку. Этой палкой я медленно, в такт словам Аркадия Петровича, медленно рою ямку. Сначала ямка маленькая, но по мере того, как политрук продолжает, она углубляется и углубляется. Чувствую, как горят мои щеки, а Аркадий Петрович словно бы и не замечает моего стыда. Он, видимо, решил окончательно «добить» меня:

– Ты говоришь о враче. Без году, мол, неделю как закончила институт и на фронте недолго была. А знаешь ли ты, Лиляна, что у войны особый счет времени? Иной человек всю жизнь проживет, и сам он и те, кто знают его, так и не поймут, кто он был – герой или трус, щедрая душа или обыватель, мещанин, себялюбец. И в этом нет ничего удивительного – просто не было случая показать себя. Живет себе, ну и пусть. А на войне чаще всего бывает так, что обстоятельства заставляют человека, прости за сравнение, вывернуться наизнанку. Несколько часов, а может быть и только несколько минут – и яснее ясного, кто перед тобой. На войне, брат, бывают такие минуты… Да что я распространяюсь? Ты и сама это знать должна. А врач наша… Галия – так твоего командира Галину Ахметовну зовут – с первого же дня своего на фронте в такой оборот попала, что и врагу не пожелаешь. Отступали мы тогда. Не успели выбраться из «мешка», попали в окружение. Думаешь, растерялась она? И за санитарку работала, и доктором была для раненых. Всего хлебнуть пришлось. И винтовку брала в руки. Надо было. Да для такого человека любой командир за кашей с удовольствием бы пошел. А ты… Гордость и все такое. Не гоже, Орлович. Надо знать людей и…

– Товарищ политрук, – взмолилась я. – Ну ладно. Добивайте уж до конца...

– А я уже кончил. Правда, побить бы тебя надо было побольнее. Рассказать бы твоим товаркам о нашем с тобой разговоре. Он поучителен. Не находишь?

У меня даже руки похолодели. Неужели еще и на такой позор выставит меня перед всеми этот человек? Я с тревогой ждала, что он еще скажет. Но Аркадий Петрович молча встал, надел свою пилотку и, не простившись, ушел.

Нет, не использовал он этот случай в своей воспитательной политической работе. Был он не только политруком, а еще, видно, и хорошим педагогом и психологом. А это все, к слову сказать, и говорило о том, что и политруком он был настоящим.

…С того вечера началась моя большая дружба с

замечательным человеком – Аркадием Петровичем Жемчуговым.

* * *

1 сентября 1942 года мы принимали присягу на верность своему народу, Родине, клялись выполнить до конца свой воинский долг.

Полощется на ветру алое знамя, и яркий свет его заливает не только маленькую площадь, на которой ровным строем застыли молодые девчонки, алый свет заливает всю страну, и отблески его в глазах у каждого.

– Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, … – падают в душу торжественные и строгие слова…

Мы клянемся тебе, Родина, быть достойными дочерьми. Мы клянемся вам, светлокосые березки, что шумят над израненной нашей землей; мы клянемся вам, могилы самых дорогих сынов Родины, что сложили свои головы в боях и спят теперь под холмиками с фанерными обелисками, увенчанными жестяными звездочками…

Мы клянемся вам, большие и малые города, которые куют победу над врагом; мы клянемся вам – колхозы, вам – женщины и дети, которые сейчас до изнеможения трудятся, чтоб накормить армию и рабочих хлебом; мы клянемся вам – голодные ленинградцы, и вам – тем, кто умер от голода, но не сдался.

Клянемся!

Мы клянемся защищать Великую Родину мужественно и умело, не щадя своей жизни.

Клянемся!

* * *

Перед отправкой на фронт довелось мне побывать в Москве. Накануне не спала целую ночь. То и дело протягивала в темноте руку к карману гимнастерки: там ли увольнительная? Похрустев чудодейственной бумажкой, я успокаивалась, откидывала голову на жесткую соломенную подушку, плотно закрывала глаза, но сон не

приходил. Думалось мне, что только перешагну порог нашей московской квартиры, как бросятся мне навстречу и Стасик, и Валентина. Известие об их гибели окажется ложным. Вот почему я ни слова не пишу своему доброму соседу – отцу Наташи, нашему управдому.

Ранним утром была я на станции. Совсем немного, всего несколько часов терпения – и я дома.

Вот и улица Кирова. Наш дом. Он такой же, как и прежде – темно-серый, строгий. Шагаю вдоль витрины знакомой булочной и вижу свое отражение: рослая девушка в военном, с коротко остриженными волосами, пряди которых выбиваются из-под пилотки, взволнованными глазами смотрит вдоль улицы. А может быть, это все снится мне? Да нет же, нет! Это я, Лиляна Орлович, стучу армейскими сапогами по асфальту знакомого двора. Зайти к управдому за ключами или сразу домой? Домой! Не переводя дыхания, взбегаю на третий этаж. Нет, квартира пуста. Сургучные печати строго глядят на меня. Запылившиеся красные сургучные печати. Я медленно спускаюсь вниз. Иду к знакомой двери на первом этаже. Крепко стучу по истершейся обшарпанной клеенке. На стук кто-то идет, и я слышу из-за двери знакомый голос Наташиного отца. Правда слова его не очень-то приветливы – он ворчит что-то не совсем лестное о полоумных, которые таскаются ни свет ни заря, беспокоят людей – и все такое…

Проходит целая вечность, пока, наконец, приоткрывается дверь, и я вижу заспанное лицо нашего управдома. Но почему он так удивленно смотрит на меня? Почему дрожат его старческие руки, отбрасывающие дверную цепочку?

– Лиляна?! – удивленно спрашивает он. – Лиляна? Сестра комбрига Орловича из 15-й квартиры? Жива?

Ничего не понимаю. Жива, конечно. Мы еще только собираемся на фронт. Почему не писала? Не знаю. Просто хотела сама приехать. А как там Наташа в Сибири? Часто пишет?

– Нет в живых ее...

– Как это?

– Да так вот. Она погибла где-то под Ярославлем, когда бомбили поезд. Старуха моя ездила, но ничего толком не смогла узнать. Только могилу видела. Мы не знали, что о тебе подумать. Тебя ведь тоже не нашли тогда.

Значит, Наташа… В ту страшную ночь…

– А у меня словно сердце чуяло: не выписывал тебя из домовой книги, и квартира ваша, как тогда опечатали, так и стоит.

…Я открыла дверь своей квартиры и отшатнулась. И прошло всего лишь каких-нибудь полгода, а здесь такое запустение. На мебели, на стеклах книжных шкафов, на зеркалах, на одеялах лежал густой слой пыли, а ковер утерял свою прежнюю расцветку и стал просто пушисто-серым.

Вещи! Что же вы не плачете о том, что некому вас переставлять, некому смахнуть пыль?

Вещи! Что же вы не радуетесь, что пришла, наконец, домой единственная оставшаяся в живых душа? Ну, не надо. Не глядите, вещи, так грустно на меня, а то я сейчас запричитаю по-бабьи, по-деревенски, несмотря на то, что Валентина когда-то учила меня быть сдержанной, и несмотря на то, что на мне военная форма.

Не надо, вещи! Сейчас вам станет совсем хорошо. Сейчас мы все исправим – заблестите вы, дорогие, как и при Валентине. Нагреть только воды, взять тряпки.

Я быстро отыскала в шкафу старенькое платье, натянула его и принялась за уборку.

Потом, когда все было закончено, истопила ванну и с наслаждением выкупалась. Когда еще придется мыться с такими удобствами!

Все дела сделаны, а у меня еще уйма времени. Сготовила себе поесть, еще раз тщательно убрала кухню и вдруг ощутила такое одиночество, что не знала, куда себя девать. Идти на улицу. Зачем?

Я бродила по чисто прибранной пустой квартире, бесцельно садилась то на один, то на другой стул, залезала с ногами на тахту. Я боялась вдруг услышать шаги Валентины или озорной голос Стасика:

– Инезилья, выходи на балкон!

Но ни шагов в соседней комнате, ни голоса племянника я не услышала. Все было тихо. Не зная, за что взяться, я стала перебирать свои студенческие тетрадки, листать старые конспекты лекций. Упражнения по латыни. Это на втором курсе. А теперь… Теперь кому нужны переводы из Юлия Цезаря? «Записки о галльской войне». Юлию Цезарю и не снилась война, подобная теперешней.

В нижнем ящике письменного стола среди разных своих сувениров нашла вещицу, которая вдруг обожгла мне руку. Колино зеркальце! Колино… то самое, с отбитым уголышком. Взяла его, и будто Колин голос услыхала:

– Лилянка моя…

Где он теперь, Коля? Живой ли? Он должен быть живым! Нельзя же, чтобы сразу… всех. Так не бывает. Не бывает? Да еще как бывает…

Но Коля жив. Я это сердцем чувствовала. И была почему-то уверена, что на фронте обязательно встречу его. Не в этом ли меня убеждает его зеркальце с отбитым уголышком? Оно шепчет мне Колиным голосом:

– Лилянка моя…

Оно – весточка от Коли. Я возьму его с собой, пусть едет со мной на фронт, искать Колю.

…Ну что ж, Лиляна, пора тебе и на боковую. Завтра рано вставать. Я достала свежие простыни и улеглась.

И вдруг... Нет, это только в книгах так бывает… Стук в дверь. Кто бы это мог к нам стучаться? Я выскочила в прихожую.

– Тетя Катя! Екатерина Васильевна…

– Здравствуй, Лиляна. Хорошо, что застала тебя, – ровным будничным голосом сказала моя гостья.

– Екатерина Васильевна, и как вы только угадали! У меня увольнительная всего на одни сутки.

– А чудеса на что? – усмехнулась тетя Катя.

– А дяди Иваны как? Здоровы?

– Иваны? Очень их много на земле, видно, Иванов-то…

– Тетя Катя, что случилось?

– Нет больше наших Иванов. Погибли осенью в ополчении.

Мы молча сидим за столом. Стынет в чашках чай. Лежит нетронутой моя нехитрая солдатская пайковая еда.

Больно начинать разговор, но мы все же начинаем его. Шелестят тихие грустные слова Екатерины Васильевны. Как она осунулась, постарела. Ей около сорока восьми, а на вид – все шестьдесят.

– Мы с тобой как на кладбище, Лиляна. Только где их искать, могилы те?

– Переживем, тетя Катя…

– Правильно ты сказала: переживем, выдюжим! Все равно наша возьмет! – убежденно говорит Екатерина Васильевна, и два маленьких сжатых кулака опускаются на скатерть. – А что на фронт идешь – это хорошо. Твои одобрили бы, и Иваны – тоже. Но хочу спросить тебя, почему так поступила?

Екатерина Васильевна испытующе смотрит на меня, как бы говоря: не произноси только громких слов, общих фраз.

– Плохо в эвакуации было или какая другая причина?

– Нет, тетя Катя, в эвакуации я могла бы отсидеться всю войну. Не могла я там оставаться.

– Почему не могла? Ты представляешь себе, что тебя ожидает? Ты можешь не доехать до фронта, и тебя убьют, разбомбят эшелон.

– Ну что ж…

– Ты можешь погибнуть, как погибают тысячи людей.

– Значит, так надо.

– Ты можешь быть тяжело раненой и остаться на всю жизнь калекой. Не страшно?

– Страшно, но я не могу иначе.

– И все же, почему ты идешь на фронт, Лиляна?

– Тетя Катя, не посчитайте слова мои громкими. Поймите меня. Я думала, что… Ну если выживу, конечно, и если будет у меня семья, если дети будут… И спросят они: что ты, мама, делала,

когда война была? Как бы я им ответила? Писала бумажки в правлении колхоза в Поволжье, была воспитательницей в детском саду? Я должна ответить своим детям: воевала! Так, как отвечал своему сыну мой брат; так, как отвечали вы с дядей Ваней вашему сыну, погибшему в Испании. Может быть, я и не так говорю, может быть, и по-газетному это все звучит, но вы-то, тетя Катя, должны понять меня. Вы тоже в моем возрасте, а то и помоложе, ушли на фронт.

– Вместе с Ванькой своим, – уточнила Екатерина Васильевна.

– Вот видите!

Екатерина Васильевна тепло улыбнулась:

– Ну что ж, счастья тебе. Хорошо, что вы такими оказались, нынешние. Хорошо.

– Спасибо, тетя Катя.

И снова переплетались наши голоса в неторопливой беседе. Первый раз за все время нашего знакомства Екатерина Васильевна, старая большевичка, орденоносец, говорила со мной как равная.

Уже начинался рассвет, когда мы спохватились, что не уснули ни на минуту. Никакого смысла уже не было ложиться.

Я встала из-за стола и принялась собираться: время было ехать на вокзал.

Глава 9
В действующей армии

Лену смотрел какой-то знаменитый уральский глазник. Колдуя над ее выжженными глазами, расспрашивал, кто она да что. Подруга моя сдержанно отвечала. Но ведущий наш врач, сопровождавшая знаменитого уральского глазника, застрекотала о наградах своей пациентки и о том, что она Герой Советского Союза. Я видела, что вся эта «афиша» покоробила Лену. Уральский глазник тоже почувствовал настроение слепой летчицы и какой-то грубоватой шуткой попытался «установить равновесие». Но он, видно, плохо понял Лену, уральский глазник. Для нее важнее всего было его одно только слово: есть ли надежда?

Знаменитый уральский глазник ушел, так и не сказав ничего определенного. Лена приняла это как окончательный приговор и надолго замкнулась, замолчала.

Я не тревожу ее, я вспоминаю, что было со мной с тех пор, как мы приехали в Сталинградские степи.

Мы едем на фронт. Сильный паровоз тащит длинный состав из запыленных, когда-то красных, вагонов-теплушек. Теплушки до отказа забиты людьми. Большинство из нас по молодости не знает, что такое война, и имеет самое смутное представление о фронте. Поэтому все мы несколько взвинчены неизвестностью и бесшабашными шутками и бравадой стараемся прикрыть тревогу, которая держит нас крепко в своих когтях. Каждый стремится видеть как можно больше и потому старается протиснуться к раскрытой двери. Нас провожает ранняя осень, машет вслед эшелону жесткими пестрыми листьями деревьев. Мы теснимся у шершавой неоструганной доски, перечеркнувшей ворота-дверь нашей теплушки на две почти равные половины. Мы навсегда хотим запомнить прощальный привет деревьев, жесткий звон сухой придорожной травы.

Чтобы заглушить тревогу, мы поем. Поем немножко грустную

песню о калине, о встрече с милым у ручья и о первой любви. Задумчивую лирическую сменяет боевая революционная песня времен Гражданской войны. Появившись неуверенно, словно маленький родничок, скоро она разливается широкой рекой и заполоняет собой всю окрестность. Рассказывает эта песня о девчонке-партизанке, которая воевала с белыми в отряде своего отца. Девушка погибла, и бойцы поклялись отомстить за нее.

От быстрой езды вагон наш вздрагивает точно живой, а на поворотах нас бросает из стороны в сторону. Мне надоело стоять, и я забираюсь на свое «плацкартное» место на нарах второго яруса, устраиваюсь головой к двери и наблюдаю, как эшелон въезжает в сумерки. Загорается в небе малюсенькая бледная звездочка, за ней – другая, третья… И скоро все небо оказывается изрешеченным звездами. Они смотрят на степь, что раскинулась за стенами нашего вагона. Звезды и степь – темная, таинственная. Больше ничего. Ни огонька кругом – то ли оттого, что никто не живет в этой степи, или потому не видно огней, что это уже прифронтовая полоса.

Все дальше и дальше остаются за спиной родные поля. А что впереди? Неизвестно.

Думай, Лиляна, о чем-то таком тихом, успокаивающем. О картинах, например, о левитановских полотнах. Ты видишь сейчас маленькую часовню и серое свинцовое небо над излучиной реки. Сумрачно и грустно, величественно и строго. И откуда-то слышится колокольный звон – бом… бом… бом… Ты слышишь, как «звучат» картины? А на другом полотне, у омута, у бревенчатых перекладин плеснула хвостом какая-то рыбина и уплыла в глубь глубокую. Тоненьким голоском пискнули на берегу птенцы, и снова тишина. Тревожная. Призрачная. Нет! Пусть не будет этих хватающих за сердце звуков, пусть лучше в летний вечер играет на своем рожке пастух, да не грустные напевы, а веселое что-нибудь. Пусть ползут по нагревшейся земле мягкие тени, пусть вокруг все будет тихо и спокойно.

Нет, не обманывай себя, Лиляна, не уходи от своих тревожных дум. Никуда от беспокойства не уйти.

А девушки все поют. Летит по степи песня, летит навстречу опасности. Меня же обступают думы…

Думаю о Коле. Коля Савчук, светлая моя радость, знаю, что ты жив. Ты воюешь с врагами, и тебе трудно. Чем ты занят в эту минуту, Колька-Цыган? Не забыл меня?

Улетела песня. Замолкли девчата. Разбрелись мои товарки по своим местам, повозились, укладываясь на дощатых двухэтажных нарах, и заснули. Я не могу спать. Я вспоминаю о тебе, Коля Савчук.

…Мы возвращаемся из школы. Мы – это Коля, Петрусь, Вера и я. Только что прошел шумный весенний ливень, и земля лежит умытая и довольная. Легко дышат зеленые влажные травы, гибкие кусты – тронь только – и осыплют тебя прохладными крупными каплями. Ярко светит солнышко. Хочется высоко подбросить свой портфель, поймать его как волейбольный мяч, потом подпрыгнуть на обеих ногах, крикнуть что-то озорное, веселое, побежать по дороге, разбрызгивая дождевые лужи. Весна! Скоро каникулы, скоро лето! Я перехожу в девятый класс, потом еще годик – и в Москву!

– А кто-то последний год в школу ходит, – безразличным голосом говорит Вера и щурит темные глазки в сторону Кольки-Цыгана. – И кому-то не жалко?

– Ты что это на китайский манер изъясняться вздумала? – грубовато отвечает Коля. – Жалко. Но и работать надо.

– А учиться дальше не хочешь? – спрашиваю я.

Коля молчит.

– Ученых больно много будет, если все в институты побегут, – встревает Петрусь.

Коля нагибается и срывает какую-то длинную травинку. На ней малюсенькие капельки дождя. Я понимаю всю никчемность разговора. Вижу, что Коля любит землю, знаю, что ему по-настоящему хочется поработать в МТС, и уверена, что он будет учиться – потому и жалко ему расставаться со школой. Только не

решил еще окончательно Коля, на кого он учиться станет. Но скоро решит. И меня почему-то злит эта взрослость Кольки-Цыгана, эта его уверенность в себе, самостоятельность, которой очень не хватает мне. Потому хочется позлить упрямца, но я не нахожу, к чему бы придраться.

– И не тянет тебя в город, Коля? – снова спрашивает Вера. – Там так хорошо – играет музыка. Все такие нарядные…

– Кто про что, а кривая Федора про свой кривой глаз, – ехидничает Петрусь.

Вера сердито косится на Петрика, но продолжает:

– А помнишь, Коля, когда мы были маленькими, ты говорил, что и лес, и луг, и коровы – все будет колхозное?

– Он тогда уже больше понимал, чем некоторые сегодня, – не унимается Петрусь.

Коля молчит, как будто не о нем идет речь. Он смотрит на нестерпимо яркое голубое небо, половину которого заняла сияющая радуга. Коля как будто впервые видит это семицветное чудо. Он держит в руках травинку, на которой в капельках-дождинках сверкают яркие огоньки, и глядит на радугу так, словно хочет подарить ее людям. И в моем представлении сливается тот детский разговор с теперешним Колиным взглядом: все будет колхозное, общее и даже… радуга, сверкающее чудо, которое пусть радует людей. Радуга – людям, пусть радуются!

Грохочет поезд. Скоро конечная остановка. А потом?… Потом – бои, но радуга должна сверкать для людей…

* * *

Во второй половине дня наш эшелон остановился на небольшой степной станции. Как горох из стручка, высыпали мы из вагона. Ровная степь кругом. Стоят небольшие деревца у вокзальных построек, смирно стоят, точно солдаты в строю застыли они, пропыленные, усталые. К горизонту бежит извилистая дорога в мягкой, как тонкого помола мука, пыли – это прошагали по ней тысячи солдатских сапог – к фронту. Ровное-ровное поле,

полынные кусты у обочины дороги так и гнутся от густой пыли.

– Не отвлекаться! Слушай команду! – кричит строгий наш старшина.

Мы отрываемся от степных красот и торопимся в вагоны – разгружать медсанбатовское имущество. Целые вагоны до самого верху набиты ящиками защитного цвета с красным крестом на крышках.

– Бегом, бегом, – командует старшина.

В глазах начинает рябить от этих крестов, руки ноют от тяжести – тянешь изо всей силы ящик, а он такой, что и двоим мужчинам только впору приподнять бы его.

– Бегом, бегом…

Шевелитесь проворнее руки, поскорее хватайте ящики с красными крестами на крышках, выносите из вагонов огромные мягкие тюки и выгружайте новенькие носилки. Все это необходимо тем, кто своими сапогами растоптал в мельчайшую пыль прифронтовую дорогу.

– Бегом, бегом…

Хватаем тяжеленные неоструганные доски и тащим их к грузовикам. Зачем? Ведь в степь едем, там никто ничего не припас для санбата.

И когда казалось, что мы уже неспособны не только что-нибудь нести, но даже двигаться, разгрузка эшелона вдруг закончилась. Быстро темнело.

– Удачно, – облегченно вздохнула стоявшая неподалеку медсестра Надя Волкова. – Пошли грузиться, – махнула она нам с Клавой Семеновой.

– Стоило так спешить, – проворчала я, втискиваясь между Клавой и фельдшером Асей Кузнецовой.

– Ох, и ничего же ты не понимаешь, девушка, – проговорила Надя, давая мне место. – День-то какой был, летный.

Заворчал мотор.

– Вот у кого надо учиться погрузке, у медсанбата, – проговорил веселый голос. – Смотрите-ка, они доверху набили

машину имуществом, а сверху ухитрились втиснуть еще две-три девчонки.

– Четыре, – поправила Ася…

– Да, действительно опыт – достойный распространения, – отозвался другой.

Говорившие засмеялись. Машина тронулась, и Ася Кузнецова, отогнув брезент, помахала в темноту рукой.

– Не увидит, темно, – шепнула Надя.

– Он знает. Я же голос подала, когда они у машины разговаривали. Слыхал.

– Ромочка?

– Он! – радостно ответила Ася.

Клава Семенова слегка подтолкнула меня локтем в бок, но я не поняла: к чему?

Проехали немного, и вроде бы утряслось все – стало и нам наверху этого медсанбатовского имущества попросторнее.

…Ранним утром, когда еще блестела роса на высохшей до желтизны степной траве, добрались мы до балки Долгой, что под Сталинградом. И снова мы весь день так работали, что и до сих пор, кажется, ноет спина и болят руки. Устанавливали большие брезентовые палатки на двух шестах. Мы, девчонки, волочили по земле тяжеленный брезент, а мужчины-санитары с покрасневшими от напряжения лицами поддерживали стенки палатки, прикручивали ко вбитым в землю кольям веревки, на которых держались эти туго натянутые стенки. Несколько мужчин с трудом поднимали тяжелые шесты-подпорки. Наконец, настоящий брезентовый дом возникал в балке, и ветер ожесточенно хлопал фартуками окон. Бывалые санитары учили нас закреплять оконные фартуки специальными застежками – деревянными пуговицами.

Когда я вошла впервые в нашу большую палатку приемо-сортировочного взвода, мне показалось там очень мрачно и словно бы не хватало воздуха. Но потом принесли специальные светлые стенки-утеплители, хорошенько укрепили брезентовый пол, расставили нехитрое походное наше медицинское имущество,

сделали из ящиков столик для медсестры, отгородили простынями уголок для врача и в два ряда поставили на полу новенькие брезентовые носилки. Врачи торопили нас – началось наступление. Наша дивизия с марша была брошена в бой.

Через несколько часов перед нашей палаткой остановилась первая машина с тяжело ранеными. А потом и пошло, и пошло… Грязные, запыленные, окровавленные, с наложенными наспех самодельными шинами на переломанные конечности. Стоны, крики, ругательства, хрип…

Работали первое время мы почти без смен, работали все, а раненые прибывали и прибывали. Только через несколько суток установили сменную работу – несколько поубавилось раненых. Дивизия почти полностью была разбита…

Помнится, принимаю у Клавы Семеновой дежурство. Мы пробираемся мимо носилок, на которых лежат только что поступившие. Клава тихонько говорит:

– Этого – в операционную, этого – в перевязочную, этого…

Я понимающе опускаю глаза: человека уже нельзя трогать. Его принесли из хирургического отделения. Сделали все, что могли. Но не всегда медицина исцеляет. Раненого принесли к нам умирать. В медсанбате есть специальная палатка, в которую относят вот таких, безнадежных, не транспортабельных. Но в тот день та специальная палатка была переполнена.

Клава уходит спать, а я беру ведра с крышками, коромысло и собираюсь на кухню.

– Ты что термос не берешь, Лиляна? – спрашивает Надя. – С термосом бы полегче.

– А с ведрами удобнее, да и больше принесешь.

Болят плечи. Каша ведь намного тяжелее воды. Но не приходится о мелочах раздумывать – надо поскорее накормить раненых, а где болит, успеется припомнить…

Не собрала еще посуду у раненых – еще доедают они развaристую гречневую кашу – как привезли новую партию. Спешу помочь выгрузить вновь прибывших из машины. Вносим носилки в

палатку и ставим их поближе одни от других – экономим место, чтоб только можно было протиснуть ступню, пройти как-нибудь. А носилки-то… Как непохожи они – в темных бурых пятнах крови – на те новенькие, которые стояли здесь всего несколько дней тому назад.

Наш доктор Галина Ахметовна обходит раненых, смотрит в сопроводительные карточки, а если их нет, то пишет новые и определяет очередность поступления в операционную и в перевязочную. Я заметила, что подходит она в первую очередь не к тем, кто очень громко стонет и требует поскорее нести его в операционную, а к тем, кто молчит. Обходит одного за другим. Раненые в грудь, в плечи, в ноги. Некоторые – в живот. Такие выживают редко. Тяжело смотреть на них – жажда их мучает, пить просят, а им нельзя. Опускаешься перед таким раненым на корточки и, склонившись над носилками, вытираешь запекшиеся губы влажной чистой марлечкой, а он – раненый этот – смотрит на тебя такими глазами, взгляд которых – умирать будешь, не забудется…

Я закончила неотложные свои дела и поспешила к безнадежному. Он был в сознании. Обрадовался, что подошли к нему. Понимал – плохи дела, но ему почему-то, несмотря на большую слабость, очень хотелось говорить. Он, тяжело дыша, стал рассказывать, что работал председателем колхоза в Рязанской области, что у него есть дочь, очень на меня похожая. Так и просидела я у носилок этого человека до самого его конца.

Закрыла ему глаза и встала. Ноги затекли, хоть кричи, а на сердце тупость какая-то…

– Лиляна, помоги!

Это зовет Надя. Значит, пришла еще одна машина. Мы с Надей поднимаем носилки, на которых лежит очень молодой, почти мальчик, офицер. В сопроводительной написано, что это тяжелораненый. У него восемь ранений – в грудь, в живот, в ноги… Наверное, в карточке написано неправильно – ранений у него больше, он весь изрешечен пулями. Я вижу растерянность на

обычно непроницаемом лице нашего врача – Галины Ахметовны. Даже ей трудно определить, с чего начинать спасение этого молодого командира. Он стонет. На лице его уже появилась та восковая бледность, которая нам, видевшим здесь не одну смерть, говорит о том, что парню очень немного осталось мучиться. А он, очнувшись перед смертью, вдруг ясным голосом спрашивает наклонившуюся над ним Надю:

– Скажите, сестрица, у меня ногу не отнимут?

Я не выдерживаю и, крепко зажав рукой рот, чтобы не видно было моих искривленных, всхлипывающих губ, отскакиваю со слезами в сторону. Я успеваю только заметить Надькин жест – нашей Нади Волковой, которая в медсанбате слывет грубиянкой и бесчувственным поленом, – она мягко опускает руку на голову раненого и осторожно гладит его по взмокшим спутанным волосам…

– Лиляна!

Я быстро вытираю слезы и бегу на зов.

* * *

Ночи стали холодными. Надо было придумать что-то, чтобы согреть наши большие брезентовые палатки. Поставили маленькие печки из жести, но они совсем не согревают. Да и топить их следует постоянно, чтобы сохранить мало-мальски нормальную температуру. А топить-то нечем. В широкой степи не растут дрова, зато катаются по бескрайним ее просторам колючие колобки жесткой травы с поэтичным названием – перекати-поле. Вот этой-то «поэзией» и приходилось согреваться. Уходишь далеко в степь, собираешь по ложбинам жесткую, ломкую, высохшую колючую траву. А над головой немецкие «журавушки» – огонь бы их спалил… Наберешь целую плащ-палатку этого хилого топлива и тащишь, чтоб сжечь ее за один раз.

Я сижу у остывающей печурки и думаю, в какую бы сторону направить стопы, чтоб раздобыть хоть чурбачок какой, хоть обломок доски. Руки все исколола поэтичная муравушка, а толку

никакого. В прошлое дежурство фрицы сбросили тугую пачку листовок, которая почему-то не развязалась в воздухе. Хорошо горела немецкая агитация…

Размышления мои бесцеремонно прервала Клава Семенова. Еще не откинув нашу брезентовую дверь, она из тамбура сообщает, чтобы я поторапливалась.

– Тебе на инструктаж в политотдел идти велено. Политрук ждет у палатки.

– На какой еще инструктаж?

– А я знаю? Политрук расскажет по дороге.

Я выхожу из палатки. Аркадий Петрович, действительно, ожидает меня. Он торопливо прощается с нашим комсоргом Асей Кузнецовой. Я спешу за ним.

– Шире шаг, агитатор! – бодро говорит Аркадий Петрович и шагает так размашисто, что я едва успеваю за ним.

– А почему я только одна?

– Потому что никого больше не удалось высвободить. За тебя Клава вызвалась подежурить.

Мы шагаем по целине широкой раздольной степи. Звенят под ногами высохшие травы, сердито чирикают они по голенищам наших сапог.

– О чем разговор будет, товарищ политрук?

– О работе агитаторов.

– Задачи агитаторов на данном этапе? – лукаво уточняю я. – А надо ли это, Аркадий Петрович? Кого нам здесь на фронте агитировать?

– Разрешите ответить, – в тон мне не без ехидства говорит политрук. – Совершенно справедливо замечено: задачи агитаторов на современном этапе, – и уже с досадой добавляет, – ох уж мне эти недоучившиеся студенты! Потерпела бы хоть самую малость, послушала бы, о чем там будут говорить, а потом бы пускалась наводить критику, потом уж философствуй – нужна ли агитация на фронте?

Аркадий Петрович внимательно поглядел на меня, как я

реагирую на столь нелицеприятное замечание о недоучившихся студентах. Но обижаться на политрука не следовало – он всегда был искренен и любил говорить правду в глаза.

– Вот какая должна быть агитация, – продолжал он, – это другой вопрос. Можно так агитировать, что у человека, перед которым ты речь держишь, чувство протеста вызовет твоя агитация. Так, что ли?

– Я согласна с вами, Аркадий Петрович. Простите – товарищ политрук…

– Ничего, в частной беседе такое обращение допустимо.

– Меня возмущает так называемая обязательность агитации.

– Не совсем понятно говоришь, Лиляна.

– Я о том, что агитировать делом надо, личным примером. Если я хорошо делаю свое дело, то и слово мое окажется веским. И не надо никаких общих деклараций.

– А кто против этого спорит? Правильно. Откровенно говоря, я и сам не люблю казенных фраз, пустых, трескучих. Но что поделаешь, они как-то прилипают к нам, въедаются, что ничем не отскрести. Мы привыкаем к ним и не замечаем, что говорим тусклыми, истертыми словами.

Так за разговором незаметно и пришли мы в политотдел дивизии.

Совещание началось точно в назначенное время. Я сижу рядом с Аркадием Петровичем и внимательно слушаю. Выступают работники политотдела, комиссары полков. Текут мысли одна похожая на другую, сыплются примелькавшиеся, ставшие шаблонными слова и выражения. Но вот что-то непохожее:

– Основная наша задача – нести в массы светлое, чистое слово нашей правды, справедливости. Мы ведь боремся за святое дело, за будущее. Закончится война, пройдут годы, и когда-нибудь поседевший человек, прошедший сквозь огонь этой страшной войны, вспомнит, как теплое дружеское слово помогало ему перенести все тяжести, помогало ему быть стойким и мужественным. Такое слово может найти только хороший человек,

тот, кто сам чист душой и помыслами. Вот таким видится нам агитатор.

– Кто это выступает? – тихонько спрашиваю я Аркадия Петровича

– Помощник начальника политотдела по комсомолу Козырев. Хорошо говорит?

Я утвердительно киваю головой и продолжаю слушать взволнованную речь старшего лейтенанта. Мы ведь с ним одинаково думаем.

Выступают все новые и новые ораторы. Один рассказывает об опыте работы агитаторов в их полку, другой учит, как интереснее выпускать боевой листок, редактор дивизионной газеты говорит, какой материал сейчас особенно важен для местной печати.

– Слово представляется командиру дивизии генерал-майору Борисову.

Генерал-майор… Мой брат носил бы сейчас такие знаки отличия. Я с любопытством смотрю на нашего командира. Он вышел из-за стола и подошел вплотную к первому ряду. Высокий плотный красивый человек лет сорока. Загорелое волевое лицо. Проницательные умные глаза. Какое-то время он молча стоял и глядел на нас. О чем он думал? О том, что может быть, единицы из тех, кто сидит здесь, доживут до конца войны? О том, что добрая половина не проведет и двух своих политбесед? О том, что дивизию снова переводят на передний край. Она пополнилась – и снова предстоят бои, да еще какие!

Генерал обратился к нам как-то совсем не по-военному.

– Друзья мои! – и от его слов стало будто светлее в этом большом слабо освещенном блиндаже, и будто спокойнее на сердце, и появилось больше уверенности в себе, в своих силах

– Огромная роль отводится вам, агитаторам, – продолжал командир дивизии. – Вы помощники партии, лучшие люди в дивизии, наша опора. Вы, коммунисты и комсомольцы, живете одной жизнью с теми, кто решает сейчас важнейший вопрос в истории нашей планеты: быть или не быть нашему строю. Мы

твердо уверены: быть! Но это надо доказать сейчас силой оружия, волей своей и мужеством. Главное сейчас – это уметь увидеть и показать другим лучшие качества советского человека в каждом из воинов. Но нам надо сейчас, как говорят медики, заниматься и профилактикой. Мы не должны допускать, чтобы человек совершил ошибку. На фронте часто такая ошибка оказывается непоправимой. Нытик, маловер, трус – это опасный наш враг. Это тот же противник. Он даже страшнее фашиста. Фашист там, по ту сторону фронта, видимый наш враг, а трус и паникер – не видим до поры до времени, он среди нас. Но это, конечно же, не значит, что в каждом человеке надо видеть врага, что каждого надо подозревать…

Я слушаю командира дивизии, и в памяти моей всплывает недавний случай.

Это было тревожною ночью. В большой нашей палатке приемо-сортировочного взвода столько мы понаставили носилок, что не повернуться. Здесь и те, кто прибывает с передовой, и те, кого эвакуируют в тыл (палатка эваковзвода не вмещает тех, кого надо увозить). Мы с Клавой носимся как угорелые. Еле мигают самодельные лампы, смастеренные из пустых гильз небольшого калибра снарядов. Стоны. Хрип. Кто-то бредит. Кто-то кричит от боли. Кто-то умирает. За брезентовой стенкой палатки темень, хоть глаз коли. А тут еще дождь пошел. Это редкое явление в приволжской степи ранней осенью – дождь. Глухо барабанят мелкие капли по брезенту. Кому и о чем рассказывают они? Но вслушиваться в бормотанье дождя нам некогда. Столько забот…

Мы с нетерпением ждем машину, которая повезет тяжелораненых в эвакогоспиталь. Их срочно надо бы отправить. Не размыло бы только дождем дороги, а то как они доедут – эти почти не транспортабельные люди. Им каждая рытвина, каждый ухаб – жуткая боль.

Клава не вытерпела и побежала встречать машину. Я прислушиваюсь, стараясь уловить шум мотора. Меня позвали. Побежала в дальний угол палатки на голос. Потом снова метнулась

к двери. Кто-то шарит в тамбуре, ищет вход. Это, наверное, шофер. Наконец-то приехала машина! Но я ошиблась. В палатку вошел молодой лейтенант с двумя бойцами. Одного из солдат я узнала, видела его у нас в медсанбате. Значит, все они из нашей дивизии. В палатке очень темно, но я ничего не сказала вошедшим. Люди ведь крыши над головой не видели с тех пор, как мы приехали сюда. Пусть постоят и хоть немного обогреются. Неподалеку разорвался снаряд. Это бьют немцы.

– Дальнобойными, – говорит кто-то.

Раненые нервничают, беспокоятся, когда же их увезут. А снаряды начинают падать все ближе и ближе. Что делать? Ну, что? В индивидуальные окопчики и противовоздушные рвы, что вырыты вокруг наших палаток, носилки с тяжелоранеными не установишь. Остается одно: ждать машину.

А ее все нет как нет, машины этой. Я снова прислушиваюсь: нет, не урчит. Зато отчетливо слышу ломкий голос лейтенанта.

– Ну и кладет, ну и кладет! В шахматном порядке. Прямо на нас идет огонь. Точно работает. Еще немного. Один только снарядик в палатку эту и… такое здесь будет, не приведи господь…

Ну и пусть бы он так думал про себя, этот лейтенант. Зачем же такое говорить вслух?

– Не говорите так. Раненые волнуются, – тихонько прошу я лейтенанта. Но он очень самонадеян, этот офицер – решил, что я знакомство с ним завязываю. Как-то по-петушиному, сбоку взглянул на меня и тоном бывалого вояки стал распространяться о том, что может наделать только один снаряд, взорвавшийся рядом, и что от нас от всех останется в случае прямого попадания.

– Товарищ лейтенант, прошу вас прекратить подобные разговоры, – строго говорю я, подходя вплотную к распетушившемуся юнцу.

– А кто ты такая, чтобы мне приказывать? – грубо обрывает меня лейтенант.

– Прошу вас выйти отсюда.

– Вот быстрая! То – ничего, а то разглядела, не понравился,

так и гонит. Лампа слишком ярко горит…

– Прошу прекратить пошлые разговоры.

– Ишь, грамотная какая.

– Вы своими разговорами нервируете раненых, – снова повторяю я вполголоса. И громко:

– Прошу оставить палатку!

Кто-то из раненых поддержал меня. Тогда лейтенант вскипел:

– Как ты смеешь, санитарка, делать замечание строевому командиру? Устава не знаешь! Командуй тут утками да…

– И не стыдно? – спросил тяжелораненый. – Вы же офицер.

– Лежите, – успокоила я своего защитника. – Я сама справлюсь.

В самом деле, не уступать же наглецу и паникеру. Я четко, глядя с брезгливостью в лицо этому человеку, говорю:

– Если вы сейчас же не покинете палатку, приглашу командира батальона. Он старше вас по званию. Разберется, да еще в вашу часть сообщит, как вы здесь воодушевляли раненых.

Лейтенант, видимо, понял, что зарвался. Бочком-бочком, да к тамбуру. Только через порог бросил:

– Не хочется связываться, а то я показал бы тебе.

– Шагай, шагай, – проговорил кто-то из раненых.

Кто был тот лейтенант? Необстрелянный хвастунишка? Наверное, я неправа была, когда спорила с Аркадием Петровичем, утверждая, что на фронте никакие агитаторы не нужны.

Та картинка промелькнула в моем мозгу, как кусочек из давно виденного фильма. Я вернулась к действительности. Генерал еще говорил:

– Повторяю: самое главное для нас *человек*. Беречь надо человека. Воевать с наименьшими потерями. Бороться за душу каждого. Воспитывать надо людей.

Я вглядываюсь в лицо командира дивизии, и чудится, что это он говорит только со мной одной. Это для меня светятся его темные глаза, и слегка поднимаются густые брови, сросшиеся у переносья – брови, похожие на крылья летящей сильной темной

птицы. Он, этот человек, похож… Да, Коля Савчук лицом походит на этого генерала. Чем еще? Взглядом смелым и открытым, энергичным жестом рук, одержимостью своей. Вот он уверенно взмахнул рукой и словно припечатал:

– В Берлин войдем!

В Берлин… Как еще далеко до Берлина. Еще идут бои на Волге, и неизвестно, чем они закончатся. В победе своей мы уверены, но кто знает, какой ценой достанется нам она?

В Берлин… Этого надо еще дождаться. Но слова звучат уверенно, как команда, как приказ. А известно, что на войне командир отдает приказ и знает, что без жертв выполнение этого приказа невозможно. И сейчас наш командир дивизии тоже знает, что для того, чтобы войти в Берлин, надо отдать жизнь сотням тысяч людей, если не больше.

В Берлин… Еще Украина и Белоруссия, Крым и Прибалтика под фашистским сапогом. Еще работает на Германию половина оккупированной Европы. Еще бесноватый Гитлер не отказался от мысли обойти Москву со стороны Кавказа, двинуться по Волге и взять нашу столицу в клещи.

В Берлин! – это звучало сказкой, но это не было сказкой. Это была грозная боевая песня, песня-марш, песня-приказ. И все в этой песне было правдой, все дышало уверенностью.

Я слушаю вещие слова командира дивизии и уже понимаю, как неправа была, когда спорила с Аркадием Петровичем о ненужности агитации на фронте. Ведь я сама видела настоящего труса, настоящего предателя. Почему же, споря с политруком, забыла тогда об этом? А сейчас, в политотдельском блиндаже, вспомнилось.

Маленький человечик, как только привезли его в медсанбат, кричал громче всех раненых. Он своим хриплым голосом наполнил нашу большую палатку приемо-сортировочного взвода. И было почему-то неприятно слышать его голос. Нет, этот раненый ни о чем не просил, он требовал; да, да – требовал, чтобы его поскорее

отправили в тыловой госпиталь. Он не может здесь оставаться. У него раздроблена кость. Его должны отправить срочно, с первой же машиной. Я пробовала угомонить его:

– У вас легкое ранение. Вы ранены в руку, а в первую очередь полагается отправлять носилочных, лежачих, тяжелораненых.

Он глядел на меня колючими глазками и истерически выкрикивал:

– Много ты понимаешь, санитарка! А у меня что же, не ранение? Это вам здесь, в санбате, почитай что в тылу, легко рассуждать. Я буду жаловаться! А то пешком пойду. Давайте направление.

Бушевал маленький человечик с бегающими колючими глазками. С ним говоришь, а он не смотрит на тебя, будто боится твоего взгляда. Руку свою, точно ляльку какую, баюкает. Накрутил на нее столько бинтов, что хватило бы перевязать несколько раненых.

Привлеченный громкой возбужденной речью раненого главный хирург медсанбата доктор Далибов заглянул в нашу палатку:

– Ну давайте я посмотрю, что у вас, – сказал он маленькому человечику.

– Товарищ военврач, я прошу поскорее отправить меня.

– У нас такой порядок: сначала смотрим здесь и оказываем первую помощь, а потом уже эвакуируем в тыл, – терпеливо объяснял Далибов.

– Слыхал я, об этом санитарка толковала, – морщился раненый.

– Ну-ка, ну-ка… Что у вас? – бормотал Далибов, внимательно поворачивая руку раненого.

Далибов быстро взглянул на меня, когда я подошла с банкой йодного раствора. Нет, не надо мазать и перевязывать тоже не надо. Потом началось совсем уж непонятное. Оба они – и раненый, и хирург Далибов побледнели. Маленький человечик что-то быстро говорил шепотом Далибову, убеждал в чем-то, потом оправдывался

будто, а хирург с растерянным и брезгливым выражением на лице торопливо обматывал раненую руку маленького человечика тем самым бинтом, которым она была до этого перевязана. Врач взял карточку, которую мы обычно заполняем на эвакуируемых, и сам заполнил ее. Но не отдал карточку на руки раненому, а почему-то унес ее с собой.

Через несколько минут Далибов попросил меня вывести раненого из палатки. За дверью стоял боец с автоматом. Я видела, как опустились плечи у маленького человечика. Правда по росту он был даже несколько выше бойца с автоматом, но все равно казался мне маленьким – таким он был ничтожным и поганеньким.

Далибов с жестким лицом стоял и смотрел, как шли они вдоль балки – преступник и конвойный.

– Разрешите спросить, товарищ военврач… Это…

– Самострел. Я направил его в трибунал.

– Но ведь у него не обожжена рука.

Далибов с любопытством взглянул на меня:

– Ты и об этом знаешь? Нет, здесь не наивный самострел. Этот мерзавец стрелял себе в руку сквозь бутылку с водой, обернутую тряпкой, но кое-что не рассчитал.

– Его расстреляют?

– Конечно, – ответил Далибов и зашагал к себе в операционную.

Я сначала подумала, что это очень жестокий приказ – расстреливать человека – нашего, своего – только за то, что он один только раз допустил ошибку, струсил. А другой голос, тоже мой собственный, возразил: нет, это – высшая справедливость. Именно так и надо поступать с подобными людишками. Почему же одни идут в атаку, поднимаются и бегут навстречу смерти или тяжелому ранению? Они, что же – не хотят жить? Очень хотят! Я живо представила себе, как это бывает там, на передовой. Ураганный огонь противника. Сигнал: атака! Как трудно оторвать свое тело от земли, каким мужеством надо обладать тем, кто под пулями вываливается из своего окопа, прыгает, падает, поднимается и

бежит, бежит… Бежит, чтобы в рукопашную схватиться с врагом или упасть на ту самую землю, от которой незадолго до этого так было трудно оторваться.

Так делают все. А разве каждый из них не хочет дожить до победы и вернуться домой? Но война есть война, и долг солдата есть долг перед родиной, перед народом, перед своей совестью. А как же иначе? Неужели те, кого искалеченными, изуродованными целыми эшелонами везут в тыловые госпитали, не хотели бы быть целыми и невредимыми? Неужели те, кто лежит в братских могилах, что вырастают через несколько часов после боя или в тех, которые появляются рядом с санбатами, с госпиталями, неужели те, умершие от ран, не хотели бы остаться живыми? Так почему же трус решил, что он какой-то особенный, исключительный и ему одному можно спрятаться за спиной других? Нет, здесь все очень правильно…

…Я, наверное, так задумалась, что Аркадию Петровичу пришлось трясти меня за плечо. Совещание агитаторов закончилось.

Я успела только заметить смешинки в глазах старшего лейтенанта, помощника начальника политотдела по комсомолу. Он почему-то задержался и видел, как политрук Жемчугов «приводил меня в чувство». Мне стало неловко, и я поспешила за Аркадием Петровичем.

В ушах моих звучали слова:

– В Берлин войдем!

* * *

Вернулись из политотдела дивизии мы уже затемно. Не успела я войти к себе в палатку, как получила приказ ехать за тяжелоранеными. На передовой снова начали постреливать. Почему именно меня послали вместо медсестры, я не спрашивала – значит, так надо.

Лунная ночь. Равнодушное ко всем человеческим горестям

светило смотрит на широкую ровную степь. Степь эта кажется таинственной, непонятной, полной каких-то особенных шорохов и красок. Наша санитарная машина мчится, выхватывая желтым светом своих фар большие лоскуты дороги, придорожной степи, освещая молочным светом серебристые кусты полыни, которая упрямо растет себе, тянется вверх, несмотря на войну. Я спрашиваю шофера, не страшно ли ему ездить ночью, не видно ли сверху света от автомобильных фар. Он уверяет, что не видно – на фарах козырьки, а свет на дороге вряд ли можно заметить. Веселый водитель всю дорогу «ведет репортаж». У самого кювета, на повороте, лежит белая лошадь. Она убита несколько дней тому назад, и шофер говорит, что пора бы ее включить в дорожный путеводитель: ориентир все-таки…

Я смотрю по сторонам. Впереди на темном небе то и дело проносятся огненные бусы трассирующих пуль. Они перечеркивают край неба светящимся пунктиром, и я невольно поворачиваю голову в ту сторону, куда движется эта смертоносная цепочка. Слышны орудийные залпы – точно кто громадный и сильный недовольно вздыхает. Машину резко подбрасывает на ухабах – мы торопимся.

Вот и конец рейса. Останавливаемся у груды каких-то камней. Никак не могу разглядеть, где же ППМ? Полковая медицина надежно замаскировалась. Ничего удивительного – совсем рядом передний край. Наконец, внимательно приглядевшись, я замечаю маленькую жестяную трубу, прикрытую металлическим козырьком.

По вырытым в земле ступеням спускаюсь в блиндаж. В нос бьет тяжелый запах крови и пота. На носилках – тяжелораненые. Лампа-гильза скупо освещает белые бинты и бледные повосковевшие лица. Различаю забинтованные головы, руки, неестественно выпрямленые, в лубках, сломанные ноги. Мелькает тревожная мысль: а что если не хватит для всех мест в машине? И тогда… Сумей-ка не отвести глаз от взгляда тех, кому не можешь помочь сразу…

Навстречу мне, искусно лавируя между плотно поставленными носилками с людьми, пробирается молоденький военфельдшер.

– Из медсанбата?

– Да. Очередность установили?

– Конечно, не в первый раз, – улыбается военфельдшер.

По возбужденному голосу, по манере держаться как можно солиднее, по новенькой гимнастерке с парочкой блестящих бардовых «кубиков» на петлицах угадываю, что этот паренек дня два-три как на передовой. Он не успел еще усвоить, что я всего лишь санитарка (с нами иногда военные средние медицинские командиры не очень-то церемонятся) – обращается со мной очень просто и уважительно, как бы обращался молодой человек с незнакомой девушкой. Он старается значительно и солидно произносить медицинские термины, и это еще больше выдает его молодость и то, что он новичок на фронте. Его манера говорить и то, что лицо его так и светится счастливым сознанием того, что он уже взрослый и уже на фронте, делает этого молоденького военфельдшера чем-то очень похожим на Петю Ростова.

– Вы не беспокойтесь. Я прослежу за погрузкой. Идите пока к нам в землянку, – говорит он. – Мы живем здесь как на передовой. Хотите посмотреть?

Я заколебалась, но любопытство пересилило. Молча кивнула гостеприимному хозяину и пошла за ним. Мы спустились в маленькую землянку. Она – такая же, как и все землянки на фронте. Вдоль стен – земляные скамейки, между ними, у дальней от входа стенки – нары, застеленные плащ-палатками. Вздрагивает язычок пламени от лампы-гильзы.

– Проходите, пожалуйста, – проговорил, поднимаясь со скамьи и подходя ко мне, высокий военфельдшер с бледным лицом и темными щеголеватыми усиками.

Я несмело взглянула на него, и он мне чем-то не понравился. Усики? Взгляд? Манера держаться? Я уже пожалела, что пришла сюда, но молоденький военфельдшер – тот, который привел меня –

уже убежал.

Не пускаться же мне в бегство вслед. Я смущенно стояла у входа, а военфельдшер с усиками, казалось мне, бесцеремонно снимал с меня мерку.

– Какая у вас замечательная печурка, – сказала я, чтобы хоть как-нибудь спрятать свое замешательство.

– Погрейтесь, – великодушно пригласил хозяин.

Я приоткрыла дверцу и загляделась на веселый рыжий огонек. Гудит он себе в маленькой жестяной печурке, согревает фронтовиков. Рыжий, верткий, прыгает он по дощечкам, точно маленькая белочка.

Хозяин землянки сел на прежнее место, взял в руки невесть как попавшую сюда гитару и, пощипывая струны, стал мурлыкать мотив какой-то песенки. Потом он оборвал песню, прикрыл ладонью еще вздрагивающие струны и спросил:

– Чем же занять вас, девушка?

– Это обязательно?

– Конечно. По законам гостеприимства…

– Разумеется, – подхватила я. – К вам с визитом – леди, и вы по светскому обычаю обязаны занимать ее…

– Зачем же вы так? Нам просто хочется, чтобы и мы, и наша землянка остались в вашей памяти.

– Это очень важно для истории, – не унималась я, но, увидев огорченное лицо своего собеседника, смилостивилась. – И землянка ваша, и печурка запомнится мне хотя бы потому, что я согрелась. А теперь надо идти.

– А хотите, мы увековечим свою землянку в вашей памяти? – шутливо спросил военфельдшер.

– Однако вы очень самонадеянны.

– Нет, я серьезно.

– Ну что ж, показывайте ваш фокус.

– Не фокус это, а просто песня, – произнес кто-то из темного угла. – Нам она очень нравится.

С нар слез еще один военфельдшер, которого я сначала и не

заметила. Низенький, начинающий полнеть, он остановился передо мной и серьезно спросил:

– Так хотите послушать?

– Очень.

Оба военфельдшера переглянулись. Тот, что с усиками, снова взял гитару и словно бы с ленцой, слегка пощипывая струны, вдруг легко и задушевно запел о том, как бьется в тесной печурке огонь. От насмешливости, фатовства ничего не осталось на его лице – а усики придали ему доброту и непосредственность. Его полнеющий товарищ легко подхватил песню, и она, задумчивая, хватающая за душу, поплыла по землянке и птицей улетела в небо. Уже первые слова этой песни-чародейки так полонили меня, что я, изумлённая, растерянная, тихонько опустилась на земляной пол у печурки и, глядя на догорающие дощечки, впитывала каждое слово, старалась запомнить мелодию.

А два мужских голоса рассказывали о большой солдатской тоске, о верной женщине, о заснеженных полях под Москвой и о том, что не только снега отделяют от любимой, но и та страшная черта, которая в любую минуту может перечеркнуть жизнь.

До смерти четыре шага…

Удивительные своей человеческой простотой слова западали в душу. Мне казалось, что это я иду по глубокому снегу, это мне до смерти четыре шага. Это я тоскую о Коле. Но вот прозвучал последний аккорд. Я снова вернулась в землянку радушных фельдшеров.

– Что это за песня?

– Понравилась? – спросил низенький.

– Очень!

– Это на слова Алексея Суркова, а чья музыка, не знаем.

Похожий на Петю Ростова молоденький военфельдшер, вбежав в землянку, сообщил, что раненые погружены.

Тепло попрощалась я со своими новыми знакомыми. Когда машина уже тронулась, кто-то из них спросил:

– А как вас звать, девушка?

– Лиляна.

– Повторите, пожалуйста.

– Лиляна…

И снова навстречу машине раскрылась залитая лунным светом широкая степь. Где-то гремят наши реактивные минометы, которые весь мир прозвал «катюшами». Ухают дальнобойные орудия. Слышатся странные звуки, напоминающие удар деревянного молотка о большой лист железа.

Стонут раненые. Я сижу теперь не с шофером, а в кузове крытой брезентом машины, вместе с ними. Скорее бы только довезти.

Поздно ночью подъезжаем мы к знакомой палатке приемо-сортировочного взвода. Голос Нади Волковой из темноты спрашивает:

– Сколько?

– Восемь носилочных…

Быстро разгружаем машину.

Глава 10
…Встретить, чтобы потерять…

Это произошло так неожиданно, что до сих пор мне кажется сном, в котором все переплетается – и бескрайнее счастье, и безбрежное горе.

Было холодное ранее утро – такое, каким оно бывает только в степи: солнце поднялось над полями и балками, осветило посеребренную инеем жесткую, высохшую за лето траву. Высокое безоблачное небо сверкающим куполом висело над землей и удивлялось: отчего это люди, которым бы пахать землю и растить сады, калечат и убивают друг друга? Воздух был прозрачен и холоден, точно свежая родниковая вода. Осень едва начиналась. Была та пора, когда лето всеми силами протестовало, не сдавалось, не хотело уходить. Оно еще чувствовало себя сильным и заигрывало: то появлялось – и тогда все вокруг дышало светом и теплом, а небо ласково глядело на степь; то вдруг лето опускало руки, становилось неуверенным – и тогда дышало все холодом, дул сердитый ветер, и облака закрывали солнце.

Особенно хорошо было тем памятным утром. День обещал быть по-летнему теплым и ясным. После ночного дежурства я отбросила брезентовый полог нашей палатки и, расправляя плечи, протянула вперед руки – навстречу дню и солнцу.

– Да вот и она сама, к вам руки протягивает, – услыхала я грубоватый голос Нади Волковой.

С кем это она? О ком? Идет с ней рядом высокий широкоплечий ладный такой танкист. Но почему это он вдруг точно споткнулся? Остановился, снял с головы шлем и…

– Боже мой… Коля! … Коля Савчук!

А он уже бежал ко мне, и я видела его смуглое лицо, его горячие глаза. Коля… Нет, это только на войне так бывает! Как же я не узнала его сразу? Ведь ни у кого в целом свете нет таких жестковатых туго вьющихся цыганских волос! Нет ни у кого такой

белозубой улыбки, нет таких сильных и ласковых рук.

Коля… Коля Савчук!

И как только его руки легли на мои плечи, все тревоги, все невзгоды сразу пропали. Солдат Лиляна Орлович стала самой счастливой девушкой на земле, просто только счастливой девушкой.

До сих пор как будто смотрю на себя со стороны. Смуглые Колины руки касаются выгоревшей моей гимнастерки, а глаза у Коли самые преданные, самые понятные.

Коля повел меня вдоль балки в степь. Мы были уже довольно далеко, когда в спину нам Надя Волкова крикнула, что отпускает меня на четыре часа. На целых четыре часа!

Мы идем по степи, крепко взявшись за руки – оба молодые и сильные, оба счастливые до петлиц на фронтовых гимнастерках. В сердцах наших счастья на целую степь, до самого горизонта. Мы ничего не говорим друг другу. Просто шагаем по жесткой выгоревшей траве. Пригревает солнце. Коля снял куртку, я давно уже несу его танкистский шлем – закинула за плечо и придерживаю пальцем за петельку.

Вот так бы и идти нам рядом всю жизнь… Мы остановились у маленькой балочки и, словно только что увиделись, крепко обняли друг друга. Я смотрю на Колю и плачу от счастья, а он тихонько ворошит мои коротко остриженные волосы.

– Два ордена у тебя, Коля. Когда это ты?

– Потом, потом, Лилянка. Дай я нагляжусь на тебя. Я и сам не верю, что ты наконец со мной.

…Мы сидим на обочине балочки. Вернее, сижу я на Колиной куртке, а Коля положил мне голову на колени, закрыл глаза и молчит. Я провожу ладонью по его смуглой щеке, разглядываю милое любимое лицо. Коля такой же, как и прежде – очень красивый. Красота. В ней ли дело? А все же… Я люблю смотреть на Колино лицо – смуглое, с правильными чертами, такое красивое, что и глядеть трепетно – холодок бежит по спине. Знаю, что не в красоте дело. Колю я любила бы даже некрасивого – ведь он только

один такой на земле – Коля…

Он рассказывает, за что его наградили. Да, было нелегко. Один раз горел в танке. Повезло – выжил. Коля открыл глаза, и они сказали мне все – все, о чем только может мечтать девушка.

– Каким же чудом нашел ты меня? Война ведь. Люди точно иголки в стогу сена.

– И все-таки нашел. Счастливый случай, понимаешь? К нам в бригаду прислали одного фельдшера. Недавно разговорились мы с ним, а он и рассказал, как пели они песню о землянке девушке Лиляне.

– И откуда же ты узнал, что это была именно я?

– По имени.

– Ты серьезно?

– Конечно. Не так уж много у нас Лилян попадается.

– В Болгарии их сколько угодно.

– То в Болгарии…

Я смотрела на смуглое Колино лицо, на чуть выгоревшие его брови – вот дотянись рукой и погладь осторожно. Это и есть счастье.

Счастье… Призрачное оно. Пробегут эти четыре часа, и окончится счастье. Коля угадал мои мысли.

– Мы не расстанемся теперь, Лилянка. Я уже все выяснил. Тебя переведут в нашу бригаду.

– А что я там у вас буду делать?

– То, что и в своем медсанбате.

Коля тихонько перебирал мои пальцы, и в его широкой ладони кисть моей огрубевшей руки, руки санитарки, все же казалась маленькой, тонкой и хрупкой.

– Лилянка, колдунья моя длинноглазая, мне так хотелось, чтоб была у нас шумная свадьба. Но что поделаешь? Мы отметим все это у нас в бригаде. Там и женой ты мне станешь. Согласна?

– Да… Только нам никак нельзя больше жить порознь, Коля.

И снова я видела близко-близко лучистые любимые глаза и ощущала ласковое прикосновение любимых ладоней к своим

остриженным «под мальчика» волосам. Тихой музыкой были для меня Колины слова о том, как мы будем жить после войны. Только странно было слышать о белых тюлевых занавесках, о цветах в просторной комнате с чистым прохладным полом, по которому можно будет шлепать босыми ногами. Коля мечтал о том, как мы будем ходить в гости, и о тех, кто будет навещать нас. Говорил, какие умные книги будем мы читать.

Будем, будет, будут… – это самые хорошие слова, столько надежды в них…

Коля все говорил и говорил. Он видел нашу квартиру, рисовал обстановку – и книжный шкаф, и посуду. Он наряжал меня в разные красивые платья – видел в синем и голубовато-зеленом, цвета морской волны.

– Такое пойдет к твоим глазам, – говорил он. – У тебя глаза серые, чуть зеленоватые. В платье том они будут зелеными, как у русалки.

– Видел ли ты их, русалок?

– Как же! Вот одна из них, рядом со мной.

Я смеялась. Коля вдруг становился строгим и, ревниво глядя на меня, говорил совсем серьезно:

– Нет, не сошьем мы тебе нарядное платье! Ты и так самая красивая. Даже в этой военной форме.

Я критически оглядывала свою вылинявшую, стиранную-перестиранную гимнастерку, хлопчатобумажную, потерявшую «товарный вид» узкую юбку и заключала, что Коля смотрит на меня сквозь розовые очки – какая уж тут красота?

– А помнишь, Лилянка, какая ты была тогда, когда меня провожала в армию?

– Какая?

– Воздушная, в белом платье, золотокудрая…

– Коля, ты стал сентиментальным, как молодой немчик.

Коля нахмурился.

– Не сердись. Я не хотела тебя обидеть.

– Я не сержусь. Просто – люблю тебя. Люблю твои глаза,

люблю твою походку, твои руки, твои волосы… всю тебя…

– Даже такие волосы, как сейчас?

– И такие… А те… те особенные были. И вспоминал я тебя такой, какой ты осталась тогда на берегу озерца. Грустная и одинокая. Если бы ты знала, как трудно мне было тогда уйти от тебя. Оторвать ног от земли никак невозможно было.

– А ты и вернулся тогда, помнишь? Я подумала ещё: не к добру.

– Эх ты… суеверная. А еще историк. Видишь: ничего не случилось.

…И снова говорили-говорили мы обо всем и ни о чем. И не замечали, что бежит время, что солнце уже давно за полдень, что опоздала я в медсанбат.

Мы заторопились к нам в часть, но зря спешили. Надя все устроила – меня подменили на работе, и снова я могла быть с Колей. Потом мы ходили к комбату, а тот звонил начсандиву – договаривался о моем переводе в танковую бригаду, где служит Коля. Кажется, все улаживалось как нельзя лучше. Через два дня меня должны были откомандировать по месту службы будущего мужа.

Как сумасшедшее мчалось время – Коле надо было возвращаться. Мы и не заметили, как прошел день. Вспомнили, что не завтракали и не обедали. Когда стали есть холодную кашу, почувствовали, что оба здорово проголодались. И какая же она была вкусная, та холодная пшенная каша с застывшим комбижиром, сдобренная двойной порцией сахарного песку (Надина забота!).

Вечерело. Я провожала Колю до развилки дорог. Почему-то очень тревожно было па сердце. Ох уж это сердце-вещун! Я прогоняла мрачные мысли, старалась доказать себе, что это всего лишь грусть от расставания, а сердце все равно больно сжималось, горько мне было, и я почти не слышала, о чем говорил тогда Коля. Он почувствовал мое настроение и замолчал. Так мы и шли вдвоем

по степи, крепко держась за руки. Шли и молчали. Нам бы радоваться, что скоро будем вместе, но мое настроение, видимо, передалось Коле, и на его лице я тоже заметила тревогу.

Вот и развилка дорог. Все, все уже кончилось, Лиляна. Сейчас Коля «проголосует», и одна из этих машин, что пылят по дороге, увезет твоего Колю. И все. И ничего уже больше не будет. Да-да, не надейся. Все останется, как прежде, будто никогда и не было этого до беспамятства счастливого дня.

Мы стоим, немного не доходя до дороги, стоим обнявшись, и обоим страшно сделать первый шаг к ненавистной, запорошенной пустой пылью разлучнице-дороге. Солнце ползет к линии горизонта, красное сердитое светило. Ну что стоило ему так не спешить! Уже тянет холодом из степи. Широкое поле с оврагами и колючими сизыми травами готовится к ночи. А мы все еще не можем разжать руки.

– Ты не забоишься одна, Лилянка? Далеко ведь. Не заблудишься в степи?

– Нет. Я уже ничего не боюсь, Коля.

– Ты так сказала это, что я не могу тебя оставить одну. Давай провожу скоренько?

Ну что мне стоило тогда согласиться? Быть может, ничего и не случилось бы. Но я не могла допустить, чтобы Коля опоздал из-за меня. Я понимала, что такое военная дисциплина. И к тому же – мы на фронте.

– У нас нет времени, Коля. Тебе надо идти. Постой-ка, у тебя в петлице веточка полыни. Дай, я выброшу.

– Не надо. Пусть останется, – и Коля прижал своей широкой смуглой ладонью мою руку к той сизой поникшей веточке. Он захотел сохранить ее. Потому что я несколько часов тому назад продела веточку эту в петлицу его военной куртки. Потом он молча поцеловал меня, и в глазах его была какая-то вина. Перед кем? За что?

Вот он побежал наперерез крытой машине, легко перепрыгнул через кювет и поднял руку. Зловеще скрипнули тормоза, и крытая

брезентом защитного цвета машина увезла Колю. «Коломбина», остановись, пока не скрылась ты за поворотом. Коля, спрыгни скорее! Нет, не остановилась машина, и не вернулся Коля. Вот и все.

Я медленно бреду домой в медсанбат. Впереди бездорожная широкая степь. Скоро совсем стемнеет. Только малюсенькая красная горбушка солнца еще держится на горизонте. Скоро и она растает. Казалось бы, степь должна в эту пору дышать тишиной и покоем, но не было тишины, и покоя тоже не было. Вся она, бескрайняя эта степь, наполнена гулом моторов, тревогой и неизвестностью. Вьется по степи избитая пропыленная фронтовая дорога – та, по которой уехал Коля, клубится густая пыль. И во всем тревога: в быстром беге крытых грузовиков, наполненных до бортов ящиками со снарядами, в напряженном остром взгляде шоферов. Везде и во всем: не прозевай! Тебя подстерегают мины на дороге, обстрелы из дальнобойных орудий, бомбардировщики с черными крестами на крыльях. Эти вражины летают без конца. Вот и сейчас летит он, тяжелый немецкий бомбардировщик, летит с низким звуком, и над степью, над грузовиками, что спешат по дороге, несется зловещее:

– Везу-у-у-у…

Да, я помню все, все – до маленькой черточки, все от самого начала и до конца...

Я хорошо видела, как полетел в ту сторону, куда уехал Коля, тяжело груженый бомбардировщик. Он сделал заход над дорогой, он выбрал цель. Летчик не думал о том, кого он осиротит, кому принесет страшное непоправимое горе. Летчик был на войне. Он нажал кнопку в своей машине, и скоро с визгом, вспарывая воздух, полетела на землю смерть. Вслед за визгом бомб на земле выросли пышные черные кусты и тут же рассыпались. А после всего – тишина. Необычная, наполненная страшной необратимостью, тишина.

Я видела все – и беспомощные маленькие далекие грузовики, убегавшие от вражеского самолета, и слышала взрывы. Все

произошло так быстро, что постичь сразу весь ужас случившегося было нелегко. Бесполезно было обманывать себя – в одной из тех машин, над которыми разворачивался немецкий бомбардировщик, был Коля.

Я бросилась снова к дороге и побежала туда, где еще плавно оседала серая пыль. Коля… Коля… Пусть контузия, пусть самое тяжелое ранение – только бы ты остался жив. Коля! По голенищам моих сапог нещадно хлестала звонкая высохшая степная трава, под ноги подкатился колючий шар перекати-поля. Я схватила его и даже не почувствовала, что колючки «диковинной травушки» яростно впились в мои ладони. Так и бежала я вдоль дороги с шаром перекати-поля в руках. Сколько могла проехать машина? Километра два-три? Уже совсем стемнело. Навстречу мне показался крытый грузовик, такая же «коломбина», как и та машина, на которой уехал Коля.

– Эй, дорогуша, не знаешь, как к медсанбату проехать?

– Что случилось?

– А ты, бывает, не с луны упала? Не знаешь, что на войне случается? Свадьба, курносая, с пляской… – и шофер добавил такое, что не пишется в книгах.

– Там «коломбина», такая же, как и ваша... Это – ее?!

– Не знаю, что ты коломбиной или розалиндой окрестила. Три машины попали.

– А раненые?

– Раненые? Кого можно было, подобрали. Вон у меня в кузове лежат. Да что ты байки разводишь? – рассердился шофер. – Не знаешь, где медсанбат?

– Поехали, – и я открыла дверцу кабины, усаживаясь рядом с водителем. – Давай до развилки, потом направо.

Машина побежала по дороге.

– Стой!

– Да что ты, скаженная?

– Стой, говорю. Надо взглянуть на раненых. С ними поеду.

Я подбежала к кузову и подтянулась на руках. Заглянула за

брезент. Разве разглядишь что в темноте? Несколько человек. Пехота. А у самого края – лейтенант-танкист. Я перемахнула через борт машины и рука моя коснулась поникшей веточки полыни. Мягкая с острым запахом веточка, та самая. Я дико закричала.

Когда очнулась, мы были уже в медсанбате. Наши сначала подумали, что и меня ранило.

Прошла ночь. Слабый молочный свет уже сочился сквозь распахнутую брезентовую дверь палатки. Я сидела у носилок, рядом с Колей. Ну хоть бы в сознание пришел, хоть бы слово сказал. Я держала его за руку и чувствовала, как медленно холодеет она, видела, как синеют ногти. Лицо Коли было забинтовано. Коля, ты не умирай! Только не умирай. Мы будем с тобой очень дружно жить… Будем еще много учиться. И дети у нас будут. Смуглые и светловолосые, очень красивые дети. Коля, мы будем приносить добро… Радугу – людям, как говорил ты в далекой юности. Коля, ты должен увидеть яркую сверкающую арку через все небо, и не один раз увидеть… Коля… Ты слышишь меня? А может быть, ты перед самым концом и увидел яркую радугу, и потом потускнели ее краски… Зато я никогда не увижу ее, радугу, такой яркой, как тогда. Все блекнет в моих глазах, и в это утро все такое серое, бесцветное. Серое небо глядит в распахнутую дверь палатки. Коля… Но ты уже никогда не услышишь меня. Смерть дохнула тебе в лицо, и оно, я знаю, там под белой марлевой повязкой стало очень спокойным и восковым, как у всех мертвых. Вот и все.

А после ничего уже не было. Только братская могила на взгорке, неподалеку от палатки нашего приемо-сортировочного взвода. Рыжий холмик жесткой степной земли, наскоро сбитая фанерная пирамидка с жестяной звездочкой на вершине и написанные химическим карандашом на неровной облупившейся фанере пирамидки имена тех, кто похоронен в этой сухой степной могиле. Все, как и полагается на войне.

Дальше для меня – непонятная зыбь. Дни сменяли ночи, работа – отдых. В свободное время я бежала к Коле, садилась у рыжего холмика и долго без всяких мыслей сидела там до тех пор,

пока мне не приказывали приступить к работе или кто-нибудь из сердобольных товарок не уводил в блиндаж и не укладывал на жесткие нары. Безучастная ко всему, что делалось вокруг, я лежала на плащ-палатке, глядя в бревенчатый накат. Потом шла на дежурство. Двигалась как автомат. Мне о чем-то говорили, в чем-то убеждали, делали уколы, уговаривали. Для чего все это было, не знаю. К чему?

Нет, я не плакала. Просто одеревенела. Часто рядом с собой я замечала Аркадия Петровича. Он не утешал меня в первые дни. Посидит рядом молча и уйдет. Только какое-нибудь поручение даст. Работой, помнится, загружали меня в ту пору как никогда. Потом наш политрук стал говорить со мной, рассказывал мне о чем-то, да я не запомнила, о чем. Казалось, что никто и ничто не в состоянии вывести меня из полосы полудремотной тягучей жизни, в которую бросила меня смерть Коли.

И все же…

Аркадий Петрович посидел рядом со мной, молча докуривая папиросу. Потом резко поднялся и почти сердито заговорил.

– Ну вот что, Лиляна, хватит. Погоревала и будет. Жить надо. Жить!

– Зачем?

– Пойдем-ка потолкуем. Здесь не место, раненые услышат.

Я с недоумением посмотрела на политрука: что ему надо?

– Идемте.

Ну, конечно же, это – приказ. Неохотно поплелась вслед за Аркадием Петровичем. Он привел меня на территорию хозяйственного взвода и усадил на пустой ящик от снарядов. Сам уселся в такое же «кресло» напротив.

– Смотри-ка, старшина позаботился о топливе, – проговорил он, указывая на гору пустых ящиков.

– Давно бы так, – безразлично ответила я.

Аркадий Петрович молчал, но я чувствовала, что глаза его строго, выжидательно и требовательно глядят на меня.

Но что я могла поделать с собой? Говорить мне не хотелось и

глядеть на все – тоже. Разве разговоры вернут мне Колю? Я опустила голову и неприязненно думала: «Ну что ж ты молчишь, политрук? Проводи разъяснительную работу, воспитывай. Залезай в душу, если считаешь, что в этом твой долг». И, словно угадав мои мысли, политрук мягко заговорил:

– Знаю, тяжело тебе. Но погляди-ка только кругом. Война. Горе не у одной тебя. Представь себе, сколько женщин в тылу переживают то же самое, что и ты. А ведь руки не опускают. Живут. Работают. Кто спорит, что все легко забудется? Но что поделаешь. Пройдет время. Оно хороший врач, зарубцуется все, утихнет боль. Так помогай же себе сейчас. Ты же видела сама, что у тех, кто активно борется с бедой, раны заживают быстрее. А у тех, кто над собой не волен, горе тянется дольше, сгибает горе таких. Ты молодая, будь сильной, чтобы не согнуло тебя несчастье. У тебя, Лиляна, все еще впереди.

Будущее. Странный человек. Зачем мне теперь это будущее? Но что-то из слов Аркадия Петровича задело меня: не одна я такая. Я вдруг увидела, как горюют тысячи подобных мне, получив похоронную. Они ничего не знают о последних минутах родных людей, даже на могилу никогда не придут – где искать ее, эту могилу? Что-то оборвалось во мне, и я, впервые за все эти страшные дни, заплакала. Откуда-то появилась Надя Волкова, сделала мне укол. Но я не могла успокоиться.

– Перестать, слышишь, – перестань! – кричал над моим ухом Аркадий Петрович, встряхивая меня за плечи.

Но я никак не могла успокоиться. Мне не хватало воздуха.

– Замолчи! – и политрук изо всей силы трахнул кулаком по деревянному ящику, на котором я сидела. – А ты думаешь, нам не жалко? Мы тебе все вот как сочувствуем! Но неужели ты, молодая девушка, настолько безвольна, чтобы дать себе погибнуть? Знаешь, что ты уже на грани?

Я перестала плакать, но в голове моей так шумело, что слова политрука доносились до меня словно через какую-то перегородку. А он говорил и говорил:

– Вот что: или ты берешь себя в руки, или мы будем вынуждены применить к тебе особые меры. Пойми ты: не можем мы доверять здоровье и жизнь размагниченному, неполноценному человеку.

– Неполноценному? – переспросила я.

– Ну не так сказал… Не владеющему собой, вернее будет. Тебе придется, Лиляна, ехать в госпиталь, в тыл. Ничего не попишешь, придется отправить. Лечение будет долгим, и вряд ли ты сможешь потом вернуться к нам в медсанбат. Ты сама этого хочешь? Постарайся понять меня правильно: в твоих руках сейчас твое выздоровление. Распустить себя недолго, а побороть горе – для этого силенка и воля нужны. Тоже мне, комсомолка…

Я почти успокоилась, слушая грозную назидательную речь политрука, но последние слова задели меня:

– Как будто комсомольцы не люди, а образцовые механизмы, будто сделаны они из шпунтиков и колесиков.

– Не философствуй, а берись-ка за себя, – отрезал политрук.

Да, обидных вещей наговорил мне Аркадий Петрович. В самом деле, неужели он и вправду считает, что с моей психикой неладно? У меня же горе, большое горе, а он что выдумал. Но мне не хотелось опровергать вслух его доводы. Я упрямо молчала. Пусть думает, что угодно, а мысли у меня не путаются! Просто горе меня сбило с ног. Не рассказывать же подробно этому политическому руководителю, сколько свалилось на меня всего за последние годы. Гибель брата, Валентины, Стасика, Коли... И он хочет, чтоб я ходила как ни в чем ни бывало. Раз комсомолка, то не смей переживать, горевать, так что ли?

Не дождавшись от меня ни одного слова, Аркадий Петрович встал и, заправляя гимнастерку под широкий комиссарский ремень, ушел. Я слышала, как скрипели его начищенные сапоги, и зло меня взяло:

– Хорошо тебе здесь турусы разводить, ярлыки приклеивать: неполноценная… Тебя бы туда, утешитель, на ту развилку дорог…

А потом самой стыдно стало. Ведь Аркадий Петрович ищет

средства поскорее поставить меня на ноги. Потому и пугает меня отправкой в тыловой госпиталь на лечение. А что касается развилки дорог, то и он пойдет туда, если будет ему приказано. Он же солдат, как и все.

Подул холодный совсем осенний ветер. Сердито зашелестели выжженные степные травы. По-прежнему безжалостно и равнодушно глядело на меня высокое бесстрастное белесое небо. А рядом, в медсанбате, копошились люди – работали, спорили, отдыхали от работы, хоронили мертвых, спасали живых. Жизнь продолжалась.

Зорька небо раскрасила с края до края,
Степь морозным подернуло инеем.
Самолетов звено, высоту набирая,
Шло куда-то на первую линию.
Где-то били орудья, машины урчали,
У земли был взъерошенный вид.
И в какой-то землянке гитара звучала,
Кто-то пел, кто-то плакал навзрыд…